

Литрес ≡ Классика

Федор Сологуб

ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА



Федор Кузьмич Сологуб

Творимая легенда

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74568531

Творимая легенда / Федор Сологуб: Литрес Классика; Москва; 2026

Аннотация

Трилогия «Творимая легенда» объединяет романы «Капли крови», «Королева Ортруда» и «Дым и пепел». В центре повествования – поэт и инженер Триродов, который стремится преобразить действительность, сливая реальность с мечтой, науку с магией. Его путь пересекается с судьбой молодой королевы Ортруды, мечтающей о справедливом правлении. Попытки героев воплотить свою «творимую легенду» сталкиваются с косностью общества, политическими заговорами и тёмными сторонами человеческой натуры, что приводит к драматической развязке. Это одно из самых ярких произведений русского символизма, сочетающее социальную утопию, мистику и тонкий психологизм.

Содержание

Капли крови	5
Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	27
Глава четвертая	36
Глава пятая	46
Глава шестая	56
Глава седьмая	64
Глава восьмая	71
Глава девятая	80
Глава десятая	92
Глава одиннадцатая	103
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Федор Сологуб

Творимая легенда

Серия «Литрес Классика»

© «Литрес», 2026

Капли крови

Глава первая

Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном.

В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно, или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасны тело, молодость и веселость в человеке, – прекрасны вода, свет и лето в природе.

Было лето, стоял светлый, знойный полдень, и на реку Скородень падали тяжелые взоры пламенного Змия. Вода, свет и лето сияли и радовались, сияли солнцем и простором, радовались одному ветру, веющему из страны далекой, многим птицам и двум обнаженным девам.



Две сестры, Елисавета и Елена, купались в реке Скороде-ни. И солнце, и вода были веселы, потому что две девы были прекрасны и были наги. И обеим девушкам было весело, прохладно и хотелось двигаться, и смеяться, и болтать, и шутить. Они говорили о человеке, который волновал их воображение.

Девушки были дочери богатого помещика. Место, где они купались, примыкало к обширному, старому саду их усадьбы. Может быть, им было особенно приятно купаться в этой реке потому, что они чувствовали себя госпожами этих быстротекущих вод и песчаных отмелей под их быстрыми ногами. И они плавали и смеялись в этой реке с уверенностью и свободой прирожденных владельниц и господж. Никто не знает пределов своего господства, — но блаженны утверждающие свое обладание, свою власть!

Они плавали вдоль и поперек реки, состязаясь одна с другою в искусстве плавать и нырять. Их тела, погруженные в воду, представляли восхитительное зрелище, для того, кто смотрел бы на них из сада, со скамейки на высоком берегу, любуясь игрою мускулов под их тонкою, эластичною кожею. В телесно-желтом жемчуге их тел тонули розовые тоны. Но розы побеждали на их лицах и на тех частях тела, которые бывали часто открыты.

Берег против усадьбы был отлогий. Росли кое-где кусты, за ними далеко простирались нивы, и на краю земли и неба виднелись далекие избы подгородной деревни. Крестьянские мальчики проходили порою по берегу. Они не смотрели на купающихся барышень. Гимназист, пришедший издалека, с другого конца города, сидел на корточках за кустами. Он называл себя телятиною: не захватил фотографического аппарата. Но, утешая себя, он думал: «Завтра непременно возьму».

Гимназист поспешно глянул на часы – заметить, в какое именно время девицы выходят сюда купаться. Он знал девиц, бывал в их доме у своего товарища, их родственника. Теперь младшая, Елена, нравилась ему больше: пухленькая, веселенькая, беленькая, румяненькая, ручки и ножки маленькие. В старшей, Елисавете, ему не нравились руки и ноги, – они казались ему слишком большими, красными. И лицо красное, очень загорелое, и вся очень большая.

«Ну, ничего, – думал он, – зато она стройная, этого нельзя отнять».

Около года прошло с той поры, как в городе Скородоже поселился отставной приват-доцент, доктор химии Георгий Сергеевич Триродов. О нем в городе с первых же дней говорили много, и больше несочувственно. Неудивительно, что и две розово-желтые черноволосые девушки в воде говорили о нем же. Они плескались водою, подымали ногами жемчужные и алмазные брызги и говорили.

– Как все это неясно! – сказала младшая сестра, Елена. – Никто не знает, откуда его состояние, и что он там делает в своем доме, и зачем ему эта детская колония. Слухи какие-то странные ходят. Неясно, право.

Эти Еленины слова напомнили Елисавете статью, которую она читала на днях в московском философском журнале. У Елисаветы была хорошая память. Она сказала, припоминая:

– В нашем мире не может воцариться разум, не может

быть устранено все неясное.

Она хотела припоминать дальше, но вспомнила вдруг, что для Елены это не будет занимательно, вздохнула и замолчала. Елена взглянула на нее с выражением привычного любования и преклонения и сказала:

– Когда так светло, хочется, чтобы и все было ясно, как здесь, вокруг нас.

– А здесь разве ясно? – возразила Елисавета. – Солнце слепит глаза, вода горит и блещет, и в этом бешено-ярком мире мы даже не знаем, нет ли в двух шагах от нас кого-нибудь, кто за нами подсматривает.

Сестры в это время стояли, отдыхая, по грудь в воде, у лугового берега Скородени. Гимназист на корточках за кустом слышал Елисаветины слова. Он похолодел от смущения и на четвереньках пустился меж кустами от реки, забрался в рожь, засел на меже и притворился, что отдыхает, что даже и не знает, где река. Но никто не замечал его, словно его и не было.

Гимназист посидел и пошел домой с неясным чувством разочарования, обиды, недоумения. Почему-то особенно обидно было ему думать, что для двух купальщиц он был только предполагаемой возможностью, тем, чего на самом деле не было.

Все на свете кончается. Кончилось и купанье сестер. Вышли они обе сразу, и не сговариваясь, из отраднo-прохладной, глубинной воды на землю, в воздух, на земное подно-

жие неба, к жарким лобзаниям тяжело и медленно вздымающегося Змия. На берегу они постояли, нежась Змиевыми лобзаниями, и вошли в закрытую купальню, где были оставлены их одежды, одеваться.

Елисаветин наряд был очень прост. Платье, сшитое туникою, без рукавов, не совсем длинное, зеленовато-желтого цвета, и простая соломенная шляпа. Елисавета почти всегда носила желтые платья. Она любила желтый цвет, курослеп и золото. Хотя она и говорила иногда, что носит желтое, чтобы не казаться слишком красною, но на самом деле она любила желтый цвет просто искренно и бескорыстно. Желтый цвет радовал Елисавету. В этом было очень далекое, досознательное воспоминание, словно из иной жизни, прежней.

Тяжелая черная Елисаветина коса была плотно и красиво положена вокруг головы. Сзади коса была высоко поднята и открывала сильно загорелую, стройно поставленную шею. На прекрасном Елисаветином лице было ярко, почти с излишнею силою, выражено преобладание волевой и интеллектуальной жизни над эмоциональною. Был очарователен странно-прямой и длинный разрез губ. Сини были ее глаза, веселые, когда и губы не улыбаются. И веселый, и задумчивый, и нежный был их взгляд. На этом лице казались неожиданно-странными яркий румянец и сильный загар.

Елисавета ждала, когда оденется Елена, медленно ходила по песчаному берегу и всматривалась в однообразные дали. Мелкие, теплые песчинки ласково грели похолодевшие в во-

де, нагие стопы.

Елена одевалась не торопясь. Так ей нравилось, казалось таким украшающим все, что наденет. Она любовалась розовыми рефлексам на своей коже, своим нарядным и легким платьем из светло-розовой, почти белой, ткани, широким розовым шелковым поясом, замкнутым сзади перламутровою пряжкой, соломенную шляпою со светло-розовыми лентами, подбитою желтовато-розовым атласом.

Наконец Елена оделась. Сестры поднялись по отлогой дорожке вверх от берега, и ушли, туда, куда влекло их любопытство. Они любили делать продолжительные прогулки пешком. Несколько раз проходили раньше мимо дома и усадьбы Георгия Триродова, которого они еще ни разу не видели. Сегодня им захотелось опять идти в ту сторону, и постараться заглянуть, увидеть что-нибудь.

Сестры прошли версты две лесом. Тихо говорили они о разном и слегка волновались. Любопытство часто волнует.

Извилистая лесная дорожка с двумя тележными колеями открывала на каждом повороте живописные виды. Наконец выбранная сестрами дорожка привела их к оврагу. Его заросшие кустами и жесткою травой склоны были дики и красивы. Из глубины оврага доносился сладкий и теплый запах донника, и виднелись там, внизу, его белые метелки. Над оврагом висел узенький мостик, подпертый снизу тонкими кольями. За мостиком тянулась вправо и влево невысокая изгородь, и в ней, прямо против мостика, видна была калитка.

Сестры перешли мостик, придерживаясь за его тонкие, березовые перильца. Потрогали калитку – заперта. Посмотрели одна на другую. Елисавета, досадливо краснея, сказала: – Надо вернуться.

– Да, вот и все говорят, что туда не попасть, – сказала Елена, – что надо через изгородь перелезть, да и то не перелезть почему-то. Странно, какие же там у них секреты?

В кустах у изгороди послышался тихий шорох. Ветки раздвинулись. Тихо подбежал бледный мальчик. Быстро глянул на сестер ясными, но слишком спокойными, словно неживыми глазами. Елисавете показался странным склад его бледных губ. Какое-то неподвижно-скорбное выражение таилось в уголках его рта. Он открыл калитку; кажется, сказал что-то, но так тихо, что сестры не расслышали. Или это легкий ветер прошумел в упругих ветках?

Мальчик скрылся за кустами так быстро, словно его и не было. Так быстро, что сестры не успели ни удивиться, ни сказать спасибо. Точно сама калитка распахнулась, или одна из сестер толкнула ее, не замечая.

Они постояли в нерешительности. Непонятное смущение на короткое мгновение охватило обеих и быстро рассеялось. Любопытство поднялось опять. Сестры вошли.

– Как же он открыл? – спросила Елена.

Елисавета молча и скоро шла вперед. Ей было радостно, что попали. И уже не хотела она думать о бледном мальчике, забыла его. Только где-то, в неясном поле сознания, тускло

мерцал белый и странный лик.

Был все такой же лес, как и до калитки, такой же задумчивый, и высокий, и разобщающий с небом, чарующий своими тайнами. Но здесь он казался побежденным человеческою деятельною жизнью. Где-то недалеко слышались голоса, крики, смех. Кое-где попадались оставленные игры. Тропинки выходили иногда на усыпанные песком широкие дорожки. Сестры быстро шли по извилистой тропинке в ту сторону, откуда сильнее звучали детские голоса, вскрики, смехи и взвизги. Потом все это многообразие звуков стянулось и растворилось в звонком и сладком пении.

Наконец перед сестрами открылась небольшая прогалина овальной формы. Высокие сосны обстали вокруг этой лужайки так ровно, как стройные колонны великолепной залы. И над нею небесная синева была особенно яркою, чистою и торжественною. На прогалине было много детей, разного возраста. В различных местах они сидели и лежали поодиночке, по два, по три. В середине десятка три мальчиков и девочек пели и танцевали, и танец их строго следовал ритму песни и с прекрасною точностью передавал ее слова. Их пением и танцем управляла высокая и стройная девушка с сильным, звучным голосом, роскошными золотистыми косами и серыми веселыми глазами.

Все, и дети, и наставницы их, – которых видно было три или четыре, – одеты были одинаково, совсем просто. Простая и легкая одежда их казалась красивою. На них приятно

было смотреть, может быть, потому, что их одежда открывала деятельные члены тела, руки и ноги. Одежда должна защищать, а не закрывать, — одевать, а не окутывать.

Синие и красные пятна шапочек и одежд красиво выделяли светлые тона лиц, рук и ног. И было весело, и казалось, под этою высокою и ясною лазурью, таким праздничным и чистым это обилие ярких и светлых тонов и смело открытого тела.

Несколько детей, из тех, которые не пели, подошли к сестрам и смотрели на них, ласково и доверчиво улыбаясь.

— Можно посидеть, — сказал мальчуган с очень синими глазами, — вот скамеечка.

— Спасибо, миленький, — сказала Елисавета.

Сестры сели. Детям хотелось говорить. Одна маленькая девочка сказала:

— А я сейчас белочку видела. На елке сидела. А я как крикнула! а она как побежит!

И другие начали рассказывать и спрашивать. А те перестали петь, разбежались играть. Золотоволосая учительница подошла к сестрам и спросила:

— Вы из города? Вам у нас нравится?

— Да, у вас хорошо, — сказала Елисавета. — У нас рядом усадьба. Мы — Рамеевы. Я — Елисавета. А это моя сестра, Елена.

Золотоволосая девица покраснела, словно застыдилась, что богатые барышни видят ее нагие плечи и ее босые, до

колен открытые ноги. Но увидев, что и барышни, как она, не обуты, она утешилась и улыбнулась.

– Я – Надежда Вещезерова, – сказала она.

И внимательно посмотрела на сестер. Елисавета подумала, что она слышала эту фамилию где-то в городе: что-то рассказывали, не помнила что. Почему-то она не сказала об этом Надежде. Может быть, слышала какую-то тяжелую историю?

Это случалось иногда с Елисаветою, – боязнь спрашивать о прошлом. Кто знает, сколько темного кроется за ясною улыбкою, из какой тьмы возникло цветение, внезапно обрадовавшее взор обманчивою красотою, красотою неверных земных переживаний.

– Легко нашли нас? – спрашивала золотоволосая Надежда, ласково и лукаво улыбаясь. – К нам не так-то просто попасть, – пояснила она.

Елисавета сказала:

– Нам открыл калитку белый мальчик. И так быстро убежал, что мы не успели и поблагодарить. Такой бледный и тихий.

Надежда вдруг перестала улыбаться.

– Да, это – не здешний, – с запинкою сказала она. – Они там живут, у Триродова. Их несколько. Не хотите ли позавтракать с нами? – спросила она, быстро оборвав прежнюю свою речь.

Елисавете показалось, что Надежда хочет переменить раз-

говор.

– Мы здесь живем весь день, и едим, и учимся, и играем, все здесь, – говорила Надежда. – Люди строили города, чтобы уйти от зверя, а сами озверели, одичали.

Горькие ноты зазвучали в ее голосе – отзвуки пережитого? или чутко воспринятое чужое? Она говорила:

– Мы идем из города в лес. От зверя, от одичания в городах. Надо убить зверя. Волки, лисицы, коршуны – хищные, жестокие. Надо убить.

Елисавета спросила:

– Как же убить зверя, который отрастил себе железные и стальные когти и угнезвился в городах? Он сам убивает, и не видно конца его злодействам.

Надежда нахмурила брови, стиснула руки и упрямо повторяла:

– Мы его убьем, убьем.

Глава вторая

Сестры не отказались от угощения. Их напоили и накормили. Они пробыли здесь более часа: весело разговаривали с детьми и с учительницами. Дети были милы и доверчивы. Учительницы, простые и милые, как дети, и такие же, как дети, веселые, казались беспечными и отдыхающими. Но они были постоянно заняты и все успевали заметить, что требовало их внимания. Впрочем, многое дети затевали и исполняли сами, пользуясь какою-то организацией, которая для сестер осталась еще неизвестною.

Здесь с игрою смешивалось учение. Одна из учительниц пригласила сестер послушать то, что она называла своим уроком. Сестры слушали с удовольствием живую беседу по поводу сегодняшних детских наблюдений в лесу. Были еще учительницы, пришедшие откуда-то из глубины леса, – и дети то уходили в лес, то приходили оттуда все иные.

Учительница, которую слушали сестры, окончила свою беседу и вдруг быстро убежала куда-то. И дети ушли за нею. За темною зеленью деревьев мелькали красные шапочки, загорелые руки и ноги учительницы и детей. Сестры остались опять одни. Уже никто не обращал на них особого внимания. Они, видимо, никого не стесняли, никому не мешали.

– Пора уходить, – сказала Елена.

Елисавета встала.

– Что ж, пойдём, – сказала она. – С ними очень интересно и легко, но не все ж тут сидеть.

Уход сестер был замечен. Несколько ребятишек подбежали к ним. Дети весело кричали:

– Мы вас проводим, а то вы заблудитесь.

Когда сестры подошли к выходу, Елисавете показалось, что кто-то смотрит на нее, таясь и дивясь. Она с недоумением, странным и тягостным, огляделась по сторонам. За изгородью, за кустами таились мальчик и девочка. Такие же, как будто бы как и все здешние, но очень белые, словно поцелуи злого Дракона, катящегося в жарком небе, не обжигали их нежной кожи. И мальчик, и девочка смотрели неподвижно, внимательно. Их непорочный взор казался проникающим в самую глубину души, и это почему-то смутило Елисавету. Она шепнула Елене:

– Взгляни, какие странные!

Елена глянула по направлению Елисаветина взора и равнодушно сказала:

– Уродцы.

Елисавета удивилась этому странному определению, – лица этих таящихся детей были, как лица молящихся ангелов.

В это время дети, провожавшие сестер, смеясь и толкаясь, побежали назад. С сестрами остался один мальчик. Он открыл калитку и ждал, когда сестры выйдут, чтобы опять закрыть ее. Елисавета тихо спросила у него:

– Кто это?

Она легким движением головы показала ему на кусты, за которыми таились мальчик и девочка. Веселый мальчуган поглядел по направлению ее взгляда, потом перевел глаза на нее и сказал:

– Там никого нет.

И в самом деле, уже никого не видно было в кустах. Елисавета сказала:

– Но я там видела мальчика и девочку. Оба такие беленькие, совсем не такие загорелые, как вы. Стояли такие смиренные и смотрели.

Веселый черноглазый мальчик внимательно посмотрел на Елисавету, слегка нахмурился, опустил глаза, подумал, опять глянул на сестер внимательно и печально и сказал:

– Там, в главном доме, у Георгия Сергеевича, есть еще тихие дети. Они с нами не бывают. Они – тихие. Не играют. Они были больные. Должно быть, еще не поправились. Я не знаю. Только они отдельно.

Мальчик говорил это медленно и задумчиво, словно дивясь, что там, в доме хозяина, есть иные, тихие дети, которые не приходят играть. Вдруг он весело тряхнул головою, словно отгоняя от себя недолжные мысли, снял свою шапочку и крикнул весело и ласково:

– Счастливого пути, милые сестрицы! Идите вот по этой тропинке.

Он поклонился, убежал, – и уже никого не было около сестер. Они пошли, куда им показал мальчуган. Перед ними

открылась тихая долина, и видна была вдали белая стена, за которою таился дом Триродова. Сестры пошли дальше, к этому дому. Перед ними, притаясь за кустами, шел мальчик в белой одежде, словно показывал им дорогу.

Было тихо. Высоко, заслоняясь от людей темно-лиловыми щитами, стоял пламенный Дракон. Он смотрел горячо и злобно из-за обманчивых, зыбких щитов, разливал яркий свет, томил, — и хотел, чтобы ему радовались, чтобы ему славали гимны. Он хотел царить, и казалось, что он недвижим, что он никогда не захочет идти на покой. Но уже багровая усталость начинала клонить его к западу. И он свирепел, и поцелуи его были знойны, и бешеный взор его багряно туманил девичьи взоры.

Искали девичьи взоры, искали дом Триродова.

Дом Триродова стоял в полутора верстах от городской окраины, не у того конца, где дымные и грязные лежали фабричные слободы, а совсем в противоположной стороне, по реке Скородени выше города Скородожа. Этот дом с усадьбою занимал обширный околоток, обнесенный каменной стеною. Одна сторона усадьбы выходила на реку, другая — к городу, остальные — в поле и в лес. Дом стоял в середине старого сада. Из-за каменного белого высокого забора виднелись только вершины деревьев, и между ними, высоко, две башенки над домом, одна несколько выше другой. Казалось, что кто-то смотрит с этой башни на подходящих сестер.

О доме шла дурная молва еще с того времени, когда он

принадлежал прежнему владельцу, Матову, родственнику сестер Рамеевых. Говорили, что дом населен привидениями и выходцами из могил. Была тропинка у дома с северной стороны усадьбы, которая вела через лес на Крутицкое кладбище. В городе дорожку эту называли Навьєю тропою, и по ней боялись ходить даже и днем. О ней складывались легенды. Местная интеллигенция старалась их разрушить, но тщетно. Самую усадьбу иногда называли Навьим двором. Иные рассказывали, что своими глазами видели на воротах загадочную надпись: «Вошли трое, вышли двое». Но теперь этой надписи не было. Видны были только над воротами легко иссеченные цифры, одна под другою: наверху 3, потом 2, внизу 1.

Все злые слухи и отговаривания не помешали Георгию Сергеевичу Триродову купить дом. Он переделал дом, а потом и поселился здесь после того, как его сравнительно недолгая учебная служба была грубо прервана. Долго перестраивали и переделывали дом. Из-за высоких стен не видно было, что там делалось. Это возбуждало любопытство горожан и злые толки. Работники были нездешние, приведенные откуда-то издалека. Они не понимали нашей речи, редко показывались на улицах, имели угрюмый вид, были смуглы и малорослы.

– Злые, черные, – говорили в городе, – ножики с собой носят, а в Навьем дворе подземные ходы роют. Сам бритый, как немец, и землекопов изчужа выписал.

– Эта учительница рыженькая, Надежда Вещезерова, мне понравилась, – сказала Елена.

Она вопросительно посмотрела на сестру.

– Да, она очень искренняя, – ответила Елисавета. – Хорошая девочка.

– Они все милые, – более уверенно сказала Елена.

– Да, – нерешительно сказала Елисавета. – А вот другая, та, которая от нас убежала, в ней есть что-то не прямое. Точно легкий налет лицемерия.

– Почему? – спросила Елена.

– Так, чувствуется. Слишком любезно улыбается. Слишком ласково. По всему видно, что флегматична, а старается быть очень живою. И словечки порою проскальзывают такие, преувеличенные.

За каменной стеною в саду было тихо. В этот час Кирша был свободен. Но он не мог играть, – не игралось.

Маленький Кирша, сын Триродова от его недавно умершей жены, был смуглый и худенький. У него было слишком подвижное лицо и беспокойные черные глаза. Одет он был, как мальчики в лесу. Он был сегодня неспокоен. Почему-то ему было жутко. Он чувствовал себя так, словно кто-то невидимый его тянет, зовет неслышным шепотом, чего-то требует – чего? И кто это к их дому подходит? Зачем? Друг или враг? Кто-то чужой, – но странно близкий.

В ту минуту, когда сестры вышли от детей в лесу, Кирша был особенно взволнован. Он увидел в дальнем углу са-

да мальчика в белой одежде и побежал к нему. Они тихо и долго говорили. Потом Кирша пошел к отцу.

Георгий Сергеевич Триродов был дома один. Лежал на диване, он читал роман Уайльда.

Триродову было лет сорок. Он был тонок и строен. Коротко остриженные волосы, бритое лицо – это его очень молодило. Только поближе присмотрясь, могли заметить много седых волос, морщины на лице около глаз, на лбу. Лицо у него было бледное. Широкий лоб казался очень большим – эффект узкого подбородка, худых щек и лысины.

Комната, где читал Триродов, его кабинет, была большая, светлая и простая, с белым, некрашеным, зеркально-ровным полом. Стены были заставлены открытыми книжными шкафами. В стене против окон между шкафами оставалось узкое, человеку стать, место. Казалось почему-то, что там есть дверь, скрытая под обоями. Посередине комнаты стоял стол, очень большой. На нем лежали книги, бумаги и еще несколько странных предметов – шестигранные призмы из неизвестного материала, тяжелые, плотные, темно-красного цвета, с багровыми, синими, серыми и черными пятнами и прожилками.

Кирша стукнул в дверь и вошел, – тихий, маленький, взволнованный. Триродов глянул на него тревожно. Кирша сказал:

– Две барышни там, в лесу. Такие любопытные. По нашей колонии ходили. Теперь им хочется сюда попасть. Походить,

посмотреть.

Триродов опустил на страницу романа бледно-зеленую ленту с легко намеченным узором, положил книгу на столик у дивана, взял Киршу за руку, притянул к себе, внимательно посмотрел на него, слегка щурясь, и тихо сказал:

– Опять тихих мальчиков выпрашивал.

Кирша покраснел, но стоял прямо и спокойно. Триродов продолжал упрекать:

– Сколько раз я говорил тебе, что это нехорошо! И для тебя худо, и для них.

– Им все равно, – тихо сказал Кирша.

– Почему ты знаешь? – сказал Триродов.

Кирша дернул плечом и сказал упрямо:

– Зачем же они здесь? На что они нам?

Триродов отвернулся, встал порывисто, подошел к окну и мрачно смотрел в сад. словно что-то взвешивалось в его сознании, все еще не решенное. Кирша тихонько подошел к нему, так тихо ступая по белому, теплomu полу загорелыми стройными ногами с широкими стопами, высоким подъемом и длинными, красиво и свободно развернутыми пальцами. Он тронул отца за плечо, – тихо положил на его плечо загорелую руку – и тихо сказал:

– Ты же ведь знаешь, мой миленький, что я это делаю редко, когда уже очень надо. А сегодня очень я беспокоился. Уж я так и знал, что будет что-то.

– Что будет? – спросил отец.

– Да уж я чувствую, – сказал Кирша просящим голосом, – что надо тебе пустить их к нам. Любопытных-то этих барышень.

Триродов посмотрел на сына очень внимательно и улыбнулся. Кирша, не улыбаясь, говорил:

– Старшая хорошая. Чем-то похожа на маму. Да и другая тоже ничего, милая.

– Зачем же они ходят? – опять спросил Триродов. – Подождали бы, пока их старшие сюда приведут.

Кирша улыбнулся, потом вздохнул легонько и сказал раздумчиво, пожимая плечиками:

– Женщины все любопытны. Что ты с ними поделаешь!

Улыбаясь не то радостно, не то жестоко, спросил Триродов:

– А мама к нам не придет?

– Ах, пусть бы пришла, хоть на минуточку! – воскликнул Кирша.

– Что же нам делать с этими девицами? – спросил Триродов.

– Пригласи их, покажи им дом, – сказал Кирша.

– И тихих детей? – тихо спросил Триродов.

– Тихим детям тоже понравилась старшая, – отвечал Кирша.

– А кто они, эти девицы? – спросил Триродов.

– Да это наши соседки, Рамеевы, – отвечал Кирша.

Триродов усмехнулся и сказал:

– Да, понятно, им любопытно.

Он нахмурился, подошел к столу, взял в руки одну из темных тяжелых призм, слегка приподнял, опять осторожно поставил на место и сказал Кирше:

– Иди же, встретить их и проводи сюда.

Кирша, радостно оживляясь, спросил:

– Через двери или гротом?

– Да, проводи их темным ходом, под землею.

Кирша вышел. Триродов остался один. Он открыл ящик письменного стола, вынул флакон странной формы зеленого стекла с темною жидкостью и посмотрел в сторону потайной двери. В ту же минуту она открылась тихо и плавно. Вошел мальчик, бледный, тихий, и посмотрел на Триродова покойными глазами, тихими, невинными, но понимающими.

Триродов подошел к нему. Упрек зрел на его языке. Но он не мог сказать упрёка. Жалость и нежность приникли к его губам. Он молча дал мальчику флакон странной формы. Мальчик тихо вышел.

Глава третья

Сестры вошли в перелесок. Повороты дорог закружили их. Вдруг пропали из виду башенки старого дома. И все вокруг показалось незнакомым.

– Да мы заблудились, – весело сказала Елена.

– Как-нибудь выйдем, – ответила Елисавета. – Куда-нибудь выйдем.

В это время навстречу им из кустов вышел Кирша, маленький, загорелый, красивый. Черные, сросшиеся брови и неприкрытые шапкою черные выющиеся на голове волосы придавали ему дикий вид лесного зоя.

– Миленький, откуда ты? – спросила Елисавета.

Кирша смотрел на сестер внимательно, прямым и невинным взглядом. Он сказал:

– Я – Кирша Триродов. Идите прямо по этой дорожке, – вот и попадете, куда вам надо. Идите за мною.

Он повернулся и пошел. Сестры шли за ним по узкой дорожке меж высоких деревьев. Кое-где цветы виднелись, – мелкие, белые, пахучие. От цветов поднимался странный, пряный запах. Сестрам стало весело и томно. Кирша молча шел перед ними.

Дорога окончилась. Перед сестрами возвышался холм, заросший перепутанною, некрасивою травою. У подножия холма виднелась ржавая дверь, – словно там хранилось что-

то.

Кирша пошарил в кармане, вынул ключ и открыл дверь. Она неприятно закрипела, зевнула холодом, сыростью и страхом. Стал виден далекий, темный ход. Кирша нажал какое-то около двери место. Темный ход осветился, словно в нем зажглись электрические лампочки. Но ламп не было видно.

Сестры вошли в грот. Свет лился отовсюду. Но источников света сестры не могли заметить. Казалось, что светились самые стены. Очень равномерно разливался свет, и нигде не видно было ни ярких рефлексов, ни теневых пятен.

Сестры шли. Теперь они были одни. Дверь за ними со скрипом заперлась. Кирша убежал вперед. Сестры скоро перестали его видеть. Коридор был извилист. Почему-то сестры не могли идти скоро. Какая-то тяжесть сковывала ноги. Казалось, что этот ход идет глубоко под землею, – он слегка склонялся. И шли так долго. Было сыро и жарко. И все жарче становилось. Странно пахло, – тоскливый, чуждый разливался аромат. Он становился все душистее и все томнее. От этого запаха слегка кружилась голова и сердце сладко и больно замирало.

Как долго идти! Все медленнее движутся ноги. Каменный так жесток пол!

– Как трудно идти, – шептала Елисавета, – как жестко!

– Какие жесткие плиты, – жаловалась Елена, – моим ногам холодно.

Так долго шли! С таким усилием влеклись в душном, сыром подземелье! И, казалось, что целый век прошел, что конца не будет, что придется все идти, идти, подземным, узким, извилистым ходом, идти неведомо куда!

Свет меркнет, в глазах туман, темнеет. И нет конца. Жестокий путь!

И вдруг окончен темный, трудный путь! Перед сестрами – открытая дверь, и в нее льется белый, слитный и торжественный свет – радость освобождения.

Сестры вошли в громадную оранжерею. Жили там странные, чудовищно-зеленые и могучие растения. Было очень влажно и душно. Стеклянные стены в железном переплете пропускали много света. Свет казался слишком ярким, беспощадно ярким – так все металось в глаза!

Елена посмотрела на свое платье. Оно казалось ей серым, изношенным. Но яркий свет отвлек ее взоры. Она засмотрелась и забыла о своем. Стекло, зеленовато-голубое небо оранжереи искрилось и горело. Лютый Змий радовался стеклянному плену земных воздыханий. Он бешено целовал свои любимые, ядовитые травы.

– Здесь еще страшнее, чем в подземелье, – сказала Елисавета, – выйдем отсюда поскорее.

– Нет, здесь хорошо, – со счастливою улыбкою сказала Елена, любуясь алыми и багряными цветами, распустившимися в круглом бассейне.

Но Елисавета быстро шла к выходу в сад. Елена догоняла

ее и ворчала:

– Куда бежишь? Здесь скамеечки есть, посидеть можно.

Елисавета и Елена вышли в сад. Триродов встретил их на дорожке у оранжереи. Он сказал просто и решительно:

– Вас интересует этот дом и его хозяин. Вот – я, и, если хотите, я покажу вам часть моих владений.

Елена покраснела. Елисавета спокойно наклонила голову и сказала:

– Да, мы – любопытные девушки. Этот дом принадлежал нашему родственнику. Но он стоял заброшенный. Говорят, здесь много перемен.

– Да, много перемен, – тихо сказал Триродов. – Но главное осталось, как было.

– Всех удивляет, – продолжала Елисавета, – что вы решились здесь поселиться. Вас не остановила репутация этого дома.

Триродов повел сестер, показывая им сад и дом. Разговор шел легко и свободно. Первое смущение сестер скоро прошло. Им легко было с Триродовым. Дружески спокойный тон Триродова сломал неловкость в думах сестер. Они шли, смотрели. А вокруг них, близкая, но далекая, таилась иная жизнь. Иногда слышалась музыка – меланхолическое роко-танье струн, тихие жалобы флейты. Иногда чей-то свирельный голос заводил нежную и тихую песню.

На одной лужайке, в густой тени старых деревьев, закрытые от грубого пламенного Змия отрадною тьмою листвы,

в тихом хороводе кружились мальчики и девочки в белых одеждах. Сестры подошли, – дети разбежались. Так тихо убежали, едва колыхнули, задевши, ветки, исчезли, – и точно их и не было.

Сестры шли, слушали Триродова и любовались садом – его деревьями, лужайками, прудами, островками, тихо журчащими фонтанами, живописными беседками, многоцветною радостью цветущих куртин. Сестры чувствовали странную, томную усталость. Но им было весело и радостно, что они попали в этот замкнутый дом, – как-то по-школьнически весело, что вошли сюда с нарушением общепринятых правил хорошего общества.

Когда вошли в одну комнату в доме, Елена воскликнула:
– Какая странная комната!

– Магическая, – с улыбкою сказал Триродов.

Странная комната, – все в ней было неправильно: потолок покатый, пол вогнутый, углы круглые, на стенах непонятные картины и неизвестные начертания. В одном углу большой, темный, плоский предмет в резной раме черного дерева.

– Зеркало, в которое интересно смотреть, – сказал Триродов. – Только надо зайти туда, в треугольник, к стене, – к углу.

Сестры зашли, глянули в зеркало, – в зеркале отразились два старые морщинистые лица. Елена закричала от страха. Елисавета побледнела, обернулась к сестре и улыбнулась.

– Не бойся, – сказала она. – Это какой-то фокус.

Елена посмотрела на нее и в ужасе закричала:

– Ты совсем старая стала! Волосы седые. Какой ужас!

Она бросилась из-за зеркала, крича в страхе:

– Что это такое? Что это?

Елисавета вышла за нею. Она не понимала случившегося, волновалась, старалась скрыть свое смущение. Триродов смотрел на них просто и спокойно. Он открыл шкаф, вделанный в стену.

– Успокойтесь, – сказал он Елене, – выпейте этой воды, которую я вам дам.

Он подал ей стакан с бесцветною, как вода, жидкостью. Елена поспешно выпила кисло-сладкую воду, и вдруг ей стало весело. Выпила и Елисавета. Елена бросилась к зеркалу.

– Я опять молодая! – закричала она звонко.

Выбежала, обняла Елисавету, говорила весело:

– И ты, Елисавета, помолодела.

Буйная веселость охватила обеих сестер. Они схватились за руки и принялись плясать, кружась по комнате. И вдруг им стало стыдно. Они остановились, не знали, куда глядеть, и засмеялись смущенно. Елисавета сказала:

– Какие мы глупые! Вам смешно глядеть на нас, да?

Триродов ласково улыбнулся.

– Такое свойство этого места, – сказал он. – Ужас и восторг живут здесь вместе.

Много интересных вещей сестры видели в доме – предметы искусства и культа, – вещи, говорящие о далеких странах

и о веках седой древности, – гравюры странного и волнующего характера, – многоцветные камни, бирюза, жемчуг, – кумиры, безобразные, смешные и ужасные, – изображения Божественного Отрока, – как многие его рисовали, но только одно лицо поразило Елисавету...

Елену забавляли вещи, похожие на игрушки. Много есть вещей, которыми можно играть, смешивая магиею отражений времена и пространства.

Так много видели сестры, – казалось, прошел целый век. Но на самом деле сестры пробыли здесь только два часа. Мы не умеем измерять времен. Иной час – век, иной час – миг, а мы уравниали.

– Как, только два часа! – сказала Елена. – Да это страшно много. Пора домой, к обеду.

– А нельзя опоздать? – спросил Триродов.

– Как можно! – воскликнула Елена.

Елисавета объяснила:

– Час обеда у нас строго соблюдается.

– Вас довезут, – сказал Триродов.

Сестры поблагодарили. Но надо было уходить. Они сразу почувствовали усталость и печаль, простились с Триродовым и молча пошли. Мальчик в белой одежде шел перед ними в саду и показывал дорогу.

Опять вошли сестры в тот же подземный ход, увидели мягкое ложе и вдруг почувствовали такую слабость, что шагу не сделать.

– Сядем, – сказала Елена.

– Да, – ответила Елисавета, – я тоже устала. Как странно!

Какое утомление!

Сестры сели. Елисавета говорила тихо:

– Здесь неживой падает на нас свет из неизвестного источника, и он страшен, – но теперь мне еще страшнее грозный лик чудовища, горящего и не сгорающего над нами.

– Милое солнце, – тихо сказала Елена.

– Оно погаснет, – говорила Елисавета, – оно погаснет, несправедливое светило, и в глубине земных переходов люди, освобожденные от опаляющего Змия и от убивающего холода, вознесут новую, мудрую жизнь.

Елена шептала:

– Когда земля застынет, люди умрут.

– Земля не умрет, – так же тихо ответила Елисавета.

Сестры заснули. Они спали недолго, но когда проснулись, обе вдруг, все, что было сейчас, казалось им сном. Они заторопились.

– Давно пора возвращаться, – озабоченно говорила Елена.

Они побежали. Дверь из подземного хода была открыта. У выхода на дороге стоял шарабан. Кириша сидел и держал вожжи. Сестры уселись. Елисавета стала править. Кириша короткими словами говорил дорогу. Говорили мало, – слово, два скажут и молчат.

У своей усадьбы сестры вышли из экипажа. Их обнимало полусонное настроение. Не успели и поблагодарить, – так

быстро уехал Кирша. Только пыль влеклась по дороге, и слышался стук копыт да шуршанье колес по щебню.

Глава четвертая

Сестры едва успели переодеться к обеду. Усталые и рас-сеянные, вышли они в столовую. Там уже их ждали – отец, землевладелец Рамеев, и Матовы, студент Петр Дмитриевич и гимназист Миша, сыновья двоюродного брата Рамеева, ны-не умершего, которому принадлежала прежде усадьба Три-родова.

Сестры мало говорили. Промолчали и о том, где были се-годня и что видели. А прежде они бывали откровенные и любили поговорить, рассказать.

Петр Матов, высокий, худощавый, бледный юноша с го-рящими глазами, с видом человека, собирающегося посту-пить в пророческую школу, казался озабоченным и раздра-женным. Его нервность почему-то отражалась, – неуверен-ными улыбками и неловкими движениями, – на Мише. Это был мальчик упитанный, с розовыми щеками, быстроглазый, веселый, но, очевидно, слишком впечатлительный. Теперь беспричинная, по-видимому, в краях его улыбающегося рта трепетала легкая дрожь.

Рамеев, невысокий, плотный старик со спокойными мане-рами хорошо воспитанного и уравновешенного человека, не давая заметить, что ждал дочерей, неторопливо занял свое место за обеденным столом, сдвинутым теперь и казавшимся маленьким посреди просторной столовой из темного резно-

го дуба. Мисс Гаррисон невозмутимо принялась разливать суп, – полная, спокойная, с седеющими волосами дама, олицетворение благополучного, хозяйственного дома.

Рамеев заметил, что дочери устали. Смутное опасение поднялось в нем. Но он быстро погасил в себе легкое пламя неудовольствия, ласково улыбнулся дочерям и тихо, словно осторожно намекая на что-то, сказал:

– Далеконько вы, мои милые, заходите.

И после молчания, недолгого, но неловкого, смягчая тайный смысл своих слов и разрешая легкое замешательство девиц, прибавил:

– Я замечаю, что вы несколько забросили езду верхом.

Потом обратился к старшему из братьев:

– Ну, что нового в городе слышно, Петя?

Сестрам было неловко. Они постарались принять участие в разговоре.

Это было в те дни, когда кровавый бес убийства носился над нашею родиною и страшные дела его бросали раздор и вражду в недра мирных семейств. Молодежь в этом доме, как и везде, часто говорила и спорила о том, что свершалось, о том, чему еще надлежало быть. Спорили, были несогласны. Дружба с детства и хорошее воспитание рядили в мягкие формы идейные противоречия. Но случалось, что спор доходил до резкостей.

Отвечая Рамееву, Петр стал рассказывать о рабочих волнениях, о подготовлявшихся забастовках. Раздражение слы-

шалось в его словах. Он был один из тех, кто волновался вопросами религиозно-философского сознания. Он думал, что мистическая жизнь человеческих единений должна быть завершена в блистательных и увлекающих формах цезаропапизма. Он думал, что любил свободу, – Христову, – но бурные движения пробуждающегося были ему ненавистны. Обольстил его царящий, огненный Змий, свирепый и мстительный Адонаи, – обольстил его соблазнами торжествующей гармонии, золотою свирелью Аполлона.

– Новости ужасные, – говорил Петр, – готовится общая забастовка. Говорят, что завтра все заводы в городе останутся.

Миша неожиданно засмеялся, совсем по-детски, весело и звонко, и вскрикнул с восторгом:

– Если бы вы видели, какая физиономия бывает у директора во всех таких случаях!

Голос у него был нежный и звенящий и так звучал кротко и ласково, точно он рассказывал о блаженном и невинном, об ангельской непорочной игре у порога райских обитателей. Слова забастовка, обструкция звучали в его устах, как названия редких и сладких лакомств. Ему стало весело и вдруг захотелось сошкольничать. Он звонко затынул было: «Вставай, поднимайся...»

Но сконфузился, оборвался, замолчал, покраснел. Сестры засмеялись. Петр смотрел угрюмо. Рамеев ласково улыбнулся. Мисс Гаррисон, делая вид, что не замечает беспоря-

дочной выходки, спокойно взялась за грушу электрического звонка, подвешенную к висевшей над столом люстре, – переменить блюдо.

Обед длился обычным порядком. Спор разгорался и беспорядочно перебрасывался с предмета на предмет. Говорят, что такова русская манера спорить. Может быть, это всемирная манера людей, когда они говорят о том, что их очень волнует. Чтобы спорить систематично, надо выбрать сначала председателя. Свободный разговор всегда мечется.

Петр пылко восклицал:

– Самодержавие пролетариата почему же лучше того, что уже есть? И что это за варварские, дикие лозунги! «Кто не с нами, тот наш враг! Кто хозяин, с места прочь, оставь наш пир!»

– О нашем пире пока еще рано говорить, – сдержанным голосом возразила Елена.

– Вы знаете ли, к чему мы стремимся, – продолжал Петр. – Надвигается пугачевщина, будет такая раскачка, какой Россия еще никогда не переживала. Дело не в том, что говорят или делают там или здесь господа, которым кажется, что они творят историю. Дело в столкновении двух классов, двух интересов, двух культур, двух миропониманий, двух моралей. Но кто хватается за венец господства? Идет Хам и грозит пожрать нашу культуру.

Елисавета сказала укоризненно:

– Что за слово – хам!

Петр усмехнулся нервно и досадливо и спросил:

– Не нравится?

– Не нравится, – спокойно сказала Елисавета.

С привычным подчинением мыслям и настроениям старшей сестры Елена сказала:

– Грубое слово. Осадок бессильного крепостничества в нем.

– Однако нынче это слово – довольно литературное, – с неопределенною улыбкою сказал Петр. – Да и как ни называть, дело не в слове. Мы воочию на бесчисленных примерах видим, что идет духовный босяк, который ко всему свирепо-равнодушен, который неисправимо дик, озлоблен и пьян на несколько поколений вперед. И он все повалит – науку, искусство, все. Вот типичный хам – этот ваш Щемилов, которому ты, Елисавета, так симпатизируешь. Фамильярный молодчик, благообразный Смердяков.

Петр пристально смотрел на Елисавету. Она сказала спокойно:

– Я нахожу, что ты к нему несправедлив. Он – хороший.

Обед кончился. Рады были. Разговор раздражал. Даже невозмутимая мисс Гаррисон несколько поспешнее всегдашнего поднялась с места. Рамеев, как всегда, ушел к себе, – на час заснуть. Молодые люди пошли в сад. Миша и Елена побежали вниз, к реке. Так захотелось беззаботно бежать друг за другом и смеяться.

– Елисавета! – позвал Петр.

Голос его нервно дрогнул. Елисавета остановилась. Старая липа быстро бросила на нее густую тень. Елисавета восторженно поглядела на Петра, положила руки на грудь, – вдруг от чего-то забилось сердце, – и, обнаженные, так стройны были руки. Прекрасные руки – обаяние власти, – о, если бы внезапный порыв страсти кинул их на его плечи!

– Могу я сказать тебе, Елисавета, несколько слов? – спросил Петр.

Елисавета слегка покраснела, склонила голову и тихо сказала:

– Сядем где-нибудь.

Она пошла по дороге к беседке над обрывом. Петр молча шел за нею. Они молча поднялись по отлогим ступеням. Елисавета села и уронила руки на низкую ограду открытой беседки. Холмистые дали широкою панорамой легли перед нею – вид с детства знакомый и неизменно соединенный с привычным, сладостным волнением. И уже не всматривалась она в отдельные предметы, – как музыка, разливалась перед нею природа в неистощимости переливных красок и успокоенных звуков. Петр стоял перед нею и смотрел на ее прекрасное лицо. Склоняющийся Змий лобзал озаренное лицо Елисаветы, – пронизанная светом, ликовала расцветающая плоть.

Они молчали. Обоим было томительно неловко. Петр нервно поламывал ветки берез, растущих около беседки. Елисавета спросила:

– Что ты хочешь мне сказать?

Холодная отчужденность, почти враждебность, послышалась в звуке ее голоса. Так сказала внутренняя тревога. Она почувствовала это и улыбнулась ласково и робко.

– Что сказать! – тихо и нерешительно начал Петр. – То же, что и всегда. Елисавета, я люблю тебя!

Елисавета покраснела. Глаза ее сверкнули и потухли. Она встала и заговорила, волнуясь:

– Петр, зачем ты опять напрасно мучишь себя и меня? Мы так с тобою близки с детства, – но мы так расходимся! У нас разные дороги, мы по-иному думаем, иному веруем.

Петр слушал ее с выражением страстного нетерпения и досады. Елисавета хотела продолжать, но он заговорил:

– Ах, к чему это... эти слова! Елисавета, забудь в эту минуту о наших разногласиях. Они так ничтожны! Или нет, пусть они значительны. Но я хочу сказать, что политика и это все, что нас разделяет, это все только легкая накипь, мгновенная пена на широком просторе нашей жизни. В любви – вечная правда, в сладостной влюбленности – откровение вечной правды. Кто не живет в любви, кто не стремится к единению с любимым, тот мертв.

– Я люблю народ, свободу, – тихо сказала Елисавета, – моя влюбленность – восстание.

Петр, не слушая ее, продолжал:

– Ты знаешь, что я люблю тебя. Я люблю тебя давно. Вся душа моя, как светом, пронизана любовью к тебе. Я ревную

тебя, – и не стыжусь сказать тебе об этом, – я ревную тебя ко всем, к этому блузнику, с которым ты злоумышляла бы, если бы у него хватило ума и смелости быть заговорщиком, – к этим полу-мыслям, которыми ты обольстилась, чтобы не любить меня.

И опять тихо сказала Елисавета:

– Ты укоряешь меня за то, что мне дорого, упрекаешь меня за лучшую меня, хочешь, чтобы я стала иною. Ты не меня любишь, – тебя соблазняет прекрасный Зверь, мое молодое тело с улыбками и с ласками...

И опять, не дослушав ее, страстно заговорил Петр:

– Елисавета, милая, полюби меня! Ты никого еще, конечно, не любишь. Нет, не любишь? Ты не успела влюбить себя, сковать свою душу. Ты свободна, как первая невеста чело- века, ты прекрасна, как его последняя жена. Ты созрела для любви, – для моей любви, – ты жаждешь поцелуев и объ-ятий, ты дрожишь от страсти, как я, – о, Елисавета, полюби, полюби меня!

– Как я могу? – сказала Елисавета.

– Елисавета, любовь – заповедь! – воскликнул Петр. – На-до хотеть полюбить. Только пойми, как я тебя люблю, – и уже ты меня полюбишь. Моя любовь должна зажечь в тебе ответную любовь.

– Друг мой, ты не любишь ничего из того, что мое, – воз-разила Елисавета, – ты не любишь меня. Я не верю, – про-сти, – не понимаю твоей любви.

Петр мрачно нахмурился и угрюмо сказал:

– Ты обольщена лживым, пустым словом – свобода. Над смыслом его ты никогда не думала.

– Я мало еще о чем успела думать, – спокойно возразила Елисавета. – Но чувство свободы мне ближе всего. Я не сумею передать его тебе словами, – я знаю, что на земле мы скованы железными узами необходимости и причин, – но стихия моей души – свобода, – пламенная стихия, и в ее огне сгорают цепи земных зависимостей. Я знаю, что мы, люди, на земле всегда будем слабы, бедны, одиноки, – но когда мы пройдем через очищающее пламя великого костра, нам откроется новая земля и новое небо, – и в великом и свободном единении мы утвердим нашу последнюю свободу. Все это я говорю сбивчиво, плохо, – я не умею сказать ясно того, что знаю, – но оставим, пожалуйста, оставим этот разговор.

Елисавета поспешно вышла из беседки. Петр медленно пошел за нею. Лицо его было печально, и глаза его ярко горели, – но слова не рождались, – бессильная поникла мысль. Вдруг он встрепенулся, поднял голову, улыбнулся, догнал Елисавету.

– Ты любишь меня, Елисавета, – сказал он уверенно и радостно, – ты любишь меня, хотя и не хочешь сказать этого. Ты говоришь неправду, когда уверяешь, что не понимаешь моей любви. Ты знаешь мою любовь, ты веришь в нее, – скажи, разве можно поверить в то, что тебя любят, и не полюбить?

Елисавета остановилась. Глаза ее зажглись странною радостью.

— Еще раз говорю, — сказала она спокойно и решительно, — ты любишь не меня, — ты любишь Первую Невесту. А я ухожу от тебя.

Петр стоял, бессильный, бледный, тусклый, и смотрел за нею. Между кустами колыхалось солнечно-желтое платье на матовом небе догоравшей зари. Елисавета уходила от узко пылающих огней старозаветной жизни к великим прельщениям и соблазнам, к буйному дерзновению возникающего.

Глава пятая

Петр и Елисавета сошли вниз к реке, туда, где была пристань для лодок. Две лодки казались покачивающимися на воде, хотя было совсем тихо и вода стояла гладкая и зеркальная. Поодаль, за кустами, виднелся парусиновый верх купальни. Елена, Миша и мисс Гаррисон были уже здесь. Они сидели на скамейке, на площадке в полугоре, где дорожка к пристани переламывалась. Открывался с этого места успокоенный вид на излучину тихой реки. Вечерела, тяжелела вода, тусклым свинцом наливалась.

Миша и Елена набегались, покраснелись, никак не могли погасить резвых улыбок. Англичанка спокойно смотрела на реку, и ничто не шокировало ее в вечеряющей природе и в успокоенной воде. Но вот пришли двое, внесли свое напряженное волнение, свою неловкость, свою смуту, – и опять завязался нескончаемый спор.

Встали с этой скамейки, где так далеко было видно и откуда все видимое являлось спокойным и мирным. Перешли вниз, к самому берегу. А вода все-таки была тихая и гладкая. И взволнованные слова беспокойных людей не колыхали ее широкой пелены. Миша выбирал плоские каменные плитки и бросал их вдаль, чтобы они, касаясь воды, отскакивали. Делал это по привычке. Спор волновал его. Руки его дрожали, камешки плохо рикошетировали, – досадно было, но он

старался скрыть досаду, пытался казаться веселым.

Елисавета сказала:

– Миша, кто лучше бросит, – давай на пяточок.

Стали играть. Миша проигрывал.

Из-за изгиба берега, от города, показалась лодка. Петр всмотрелся и сказал досадливо:

– Господин Щемилов опять припожаловал, наш сознательный рабочий, российский социал-демократ.

Елисавета улыбалась. Спросила с ласковым укором:

– За что ты его так не любишь?

Нет, ты мне скажи, – воскликнул Петр, – почему эта партия – российская, а не русская? Зачем такая высокопарность?

Елисавета спокойно ответила:

– Российская, конечно, а не только русская, потому что в нее может войти не только русский, но и латыш, и армянин, и еврей, и всякий гражданин России. Мне кажется, это очень понятно.

– А мне непонятно, – упрямо сказал Петр. – Я вижу в этом только балаган, совсем ненужный.

Меж тем лодка приблизилась. В ней сидели двое. На веслах – Алексей Макарович Щемилов, молодой рабочий, слесарь, в синей блузе и мягкой серой шляпе, невысокий, худощавый, с ироническим складом губ. Елисавета была знакома со Щемиловым с прошлой осени. Тогда же она сошлась и с некоторыми другими рабочими и партийными деятелями.

Щемилов причалил к пристани и ловко выпрыгнул из лодки. Петр сказал насмешливо, кланяясь с преувеличенной любезностью:

– Пролетарию всех стран мое почтение.

Щемилов спокойно ответил:

– Господину студенту низжайшее.

Он поздоровался со всеми и сказал, обращаясь преимущественно к Елисавете:

– Вашу собственность вам прикатил. Едва ее у меня не сперли. Наши слободские о священном праве собственности имеют свои особые понятия.

Петр закипал досадою. Самый вид молодого блузника раздражал его, слова и повадки Щемилова казались Петру нахальными. Петр сказал резко:

– По вашим понятиям, насколько я понимаю, священны не права, а грубое завладение.

Щемилов свистнул и сказал:

– Таково, батенька, и есть происхождение всякой собственности, – грубо завладел, да и баста. Блаженны обладающие, – поговорочка, сложенная грубо завладевшими.

– Это вы откуда же нахватались? – насмешливо спросил Петр.

– Крупицы мудрости падают и к нам от стола богатых, – в тон ему ответил Щемилов, – ими мы по малости и питаемся.

В лодке оставался еще один молодой человек, тоже, по-видимому, рабочий. Это был робкий на вид, худой, молчали-

вый юноша с горящими глазами. Он сидел, держался за тесемки руля и опасливо поглядывал на берег. Щемилов глянул на него насмешливо и любовно и позвал его:

– Ползи сюда, Кирилл, не бойся, – здесь все народ собрался весьма благодушный и до нашего брата очень охочий.

Петр сердито промычал что-то. Миша улыбался. Он ждал нового человека, хотя и боялся немирных споров. Кирилл неловко вылез из лодки, неловко стал на песке, понутив голову и расставив ноги, и, чтобы скрыть мучившее его ощущение неловкости, стал улыбаться. Петру было досадно. Он сказал, стараясь говорить любезно:

– Сядьте, пожалуйста.

Кирилл ответил искусственным басом:

– Сижен достаточно.

Продолжая улыбаться, сел, однако, на край скамьи и чуть не упал, – растопырил руки, мазнул Елисавету, рассердился на себя, покраснел, сел подальше от края и сказал:

– Сидел два месяца, административно.

И всем были понятны эти странные слова. Петр спросил:

– За что же?

Кирилл поежился. Сказал неловко и угрюмо:

– У нас на этот счет просто, чуть что, сейчас самые смертоносные меры.

Тем временем Щемилов тихо сказал Елисавете:

– Славный паренек. С вами, товарищ, хочет познакомиться.

Елисавета молча наклонила голову, улыбнулась приветливо Кириллу и пожала ему руку. Он расцвел.

Пришел Рамеев. Он поздоровался с гостями любезно и холодно. Было впечатление нарочной корректности, может быть, и ненужной. Разговор продолжался несколько неловко. Синие глаза Елисаветы нежно и задумчиво смотрели на раздраженного Петра и на холодно-враждебного ему Щемилова.

Петр спросил:

– Господин Щемилов, не пожелаете ли вы объяснить мне, почему идет речь о самодержавии пролетариата? Что же, вы, значит, признаете самодержавие, только хотите его перенести в другой центр? В чем же здесь шаг вперед?

Щемилов просто и спокойно ответил:

– Вы, господа собственники, нам ничего не хотите дать, ни золотника власти и обладания, ну, так что же нам делать.

– А ваши ближайшие цели? – спокойно спросил Рамеев.

– Ближайшие иль дальнейшие, что там! – ответил Щемилов. – У нас цель одна: обобществление орудий производства.

– А земля? – звенящим выкриком спросил Петр.

– И землю рассматриваем, как орудие производства, – сказал Щемилов.

– Вы воображаете, что земли бесконечно много в России? – со злобною насмешливостью спросил Петр.

– Не бесконечно, ну, а все ж таки на теперешнее население

хватит, да и с избытком, – спокойно возразил Щемилов.

– По десяти, по сто десятин на душу? – издевающимся голосом выкрикивал Петр. – Так, что ли? Втолковали это мужикам, они и волнуются.

Щемилов опять посвистал и сказал с презрительным спокойствием:

– Ерунда, почтеннейший, – мужик не столь глуп. А впрочем, позвольте спросить, что мешало противной стороне толковать мужику правильные мысли?

Петр сердито встал и быстро ушел, никому не сказав ни слова. Рамеев спокойно посмотрел вслед ему и сказал Щемилову:

– Петр слишком любит культуру, или, точнее, цивилизацию, чтобы ценить свободу. Вы слишком настаиваете на вашем классовом интересе, и потому свобода вас не так манит. Но мы, русские конституционалисты, на себе вынесем борьбу за свободу.

Щемилов слушал его, стараясь сдержать ироническую усмешку. Он сказал:

– Да, мы с вами не сойдемся. Вам надо моцион на вольном воздухе делать, а нам еще жрать хочется, – не сыты.

Рамеев помолчал и тихо сказал:

– Меня ужасает это одичание. Убийства, убийства без конца.

– Что делать! – усмехаясь, отвечал Щемилов. – Вам небось хотелось бы карманной, складной свободы для до-

машинного употребления.

Рамеев, с нескрываемым желанием прекратить разговор, встал, улыбаясь, протянул руку Щемилову и сказал:

– Должен вас оставить.

Миша пошел было за ним, потом раздумал, побежал к реке, около купальни достал свою удочку и влез в воду по колена. Давно уже он привык убегать к речке, когда печали или радости волновали его или когда надобно было хорошенько подумать о чем-нибудь. Он был мальчик застенчивый и самолюбивый и любил быть один со своими мыслями и мечтами. Холод воды, струящейся около ног, успокаивал его и отгонял всю злость.

Здесь, в воде, стоя с голыми ногами, он становился кротким и спокойным.

Скоро сюда же пришла и Елена. Она стояла на берегу и молча смотрела на воду. Почему-то ей было грустно и хотелось плакать.

Вода в реке тихо и успокоенно плескалась. Гладкая была вся поверхность, – так и шла.

Елисавета с легким неудовольствием глянула на Щемилова.

– Зачем вы так резки, Алексей? – сказала она.

– А вам не нравится, товарищ? – ответил вопросом Щемилов.

– Нет, не нравится, – решительно и просто сказала Елисавета.

Щемилов помолчал, призадумался, сказал:

– Слишком широкая бездна между нами и вашим братом. И даже между нами и вашим отцом. Трудно сговориться. Их интерес, – вы же это хорошо понимаете, – лепить пирамиду из людей; наш интерес – пирамиду эту самую по земле ровным слоем рассыпать. Так-то, товарищ Елизавета.

Елисавета досадливо поправила:

– Елисавета. Сколько уж раз я вам говорила.

Щемилов усмехнулся:

– Барские затеи, товарищ Елисавета. А впрочем, в этом ваша воля, – хоть и трудненько выговаривать. По-нашему – Лизавета.

Кирилл жаловался на свои неудачи, на полицейских, на сыщиков, на патриотов. Нудные были жалобы, серые, скучные. Был арестован, лишился работы. Видно, намучился. Голодный блеск дрожал в глазах. Кирилл жаловался:

– От полиции пришлось-таки мне потерпеть. Да и свои...

Помолчал угрюмо и продолжал:

– У нас на заводе на каждом шагу обращение самое унижительное. Одни обыски чего стоят.

Опять помолчал. Опять жаловался:

– В душу залезают. Частный разговор... Ни перед чем не останавливаются.

Он говорил про голодовку, про больную старуху. Все это было очень трогательно, но от частого повторения казалось истертым, и жалость была словно вытоптана, а сам Кирилл

казался материалом, тем человеком толпы, настроение которого должно быть использовано в интересах политического момента.

Щемилов сказал:

– Черносотенцы организуются. Очень этим господин Жербенев занят, – наш истинно русский человек.

– И Кербах с ним, тоже патриот, – сказал Кирилл.

– Самый вредный человек в нашем городе – Жербенев. Вот гадина опасная, – презрительно сказал Щемилов.

– Я его убью, – пылко сказал Кирилл.

Елисавета сказала:

– Чтобы убить человека, надо верить, что один человек существенно лучше или хуже другого, отличается от него не случайно, не социально, а мистически. То есть убийство утверждает неравенство.

Щемилов сказал:

– Мы к вам, Елисавета, отчасти и по делу.

– Говорите, какое дело, – спокойно сказала Елисавета.

– На днях приедут из Рубани товарищи, поговорить, и все такое, – говорил Щемилов. – Да это вы уже знаете.

– Знаю, – сказала Елисавета.

Щемилов продолжал:

– По этому самому случаю хотим устроить здесь неподалечку массовку для городского фабричного люда. Так вот, надо вам, Елисавета, выступить наконец в качестве оратора.

– Чем же я могу быть полезна? – спросила Елисавета.

– Вы, Елисавета, хорошо излагаете, – говорил Щемилов. – У вас голос подходящий и речь льется без запинки, и вы умеете говорить очень просто и понятно. Вам не говорить на собраниях – грех.

– Вы извините, товарищ Елисавета, – сказал Щемилов, – Кирилл, может быть, и не знает, что ваш отец – кадет. При том же он по простоте.

Кирилл покраснел.

– Я мало знаю, – застенчиво сказала Елисавета. – И как и что я стану говорить?

– Достаточно знаете, – уверенно сказал Щемилов. – Больше нас с Кириллом. Вы правильная, Елисавета. Все у вас точно и чисто выходит.

– Что же я скажу? – спросила Елисавета.

– Изобразите общую картину положения рабочих, – говорил Щемилов, – и как сам капитал на себя кует молот, заставляя рабочих организоваться.

Елисавета, краснея, молча наклонила голову.

– Ну, значит, по рукам, товарищ? – спросил Щемилов.

Елисавета засмеялась.

– По рукам, товарищ! – весело сказала она.

Было весело слышать это серьезно и простодушно произносимое слово «товарищ».

Глава шестая

Ночь пришла, – милая, тихая. Чары навееяла, скучный шум жизни обвила легким дымом забвения. Луна тихо встала на небе, ясная, спокойная, словно больная, но такая светлая, – и вся замкнутая в своем сиянии, для себя светлая. Она глядела на землю и не рассеивала тумана, – точно себе одной взяла всю ясность и всю прозрачность догоревшей зари. Тишина разлилась по земле, по воде, обняла каждое дерево, каждый куст, каждую в поле былинку.

Успокоенное настроение овладело Елисаветою. Ей стало так странно, что спорили и стояли друг против друга, как враги. Отчего не любить? не отдаваться? не покоряться чужим желаниям? его желаниям? моим желаниям? Зачем шум споров и яркие слова о борьбе, об интересах? Яркие слова, но такие далекие.

Все в доме, казалось, были утомлены – зноем? спором? тайною грустью, клонящею ко сну? к успокоению? Сестры ушли спать несколько раньше обычного. Усталость клонила их и томная печаль. Спальни сестер были рядом. Между их спальнями была всегда открытая широкая дверь. Они слышали одна другую, – и ровное дыхание спящей сестры делало живым мир страшной ночи и сна.

Елисавета и Елена не долго разговаривали. Разошлись скоро. Елисавета разделась, подошла к зеркалу, зажгла све-

чу и залюбовалась собою в холодном, мертвом, равнодушном стекле. Были жемчужны лунные отсветы на линиях ее стройного тела. Трепетны были белые, девственные груди, увенчанные двумя рубинами. Такое плотское, страстное тело пламенело и трепетало, странно белое в успокоенных нотах неживой луны. Слегка изогнутые линии живота и ног были отчетливы и тонки. Кожа, натянутая на коленях, намекала на таящуюся под нею упругую энергию. И так упруги и энергичны были изгибы голеней и стоп.

Елисавета пламенела всем телом, словно огонь пронизал всю сладкую, всю чувствующую плоть, и хотела, хотела приникнуть, прильнуть, обнять. Если бы он пришел! Только днем говорит он ей мертво звенящие слова любви, разжигаемый поцелуями крошечного Змия. О, если бы он пришел ночью к тайно пламенеющему, великому Огню расцветающей Плоти!

Любит ли он? Любовию ли он любит, последнюю и единую, побеждающе вечным дыханием небесной Афродиты? Где любовь, там и великое должно быть дерзновение. Разве любовь – сладкая, кроткая и послушная? Разве она не пламенная? Роковая, она берет, когда захочет, и не ждет.

Мечты кипели, – такие нетерпеливые, жадные мечты. Если бы он пришел, – он был бы юный бог. Но он только человек, поникший перед своим кумиром, – маленький раб мелкого демона. Он не пришел, не посмел, не догадался, – темную обвеял досадою сладкое кипение Елисаветиной страсти.

Глядя на свое дивное в зеркале изображение, насмешливо думала Елисавета:

– Может быть, он молится. Слабые и надменные, как они молятся? Им надо поучать и восторгаться, – переделать религию, и быть первыми в новой секте.

Елисавете не хотелось спать. Желание томило ее, она не знала, чего хотела, – идти? ждать? Она вышла на балкон. Ночная приникла свежесть к ее нагому телу. Она долго стояла, – и такие теплые были и влажные доски балкона под голыми стопами. Она смотрела в отуманенную полуясность дремлющего под луною сада. Вспоминались ей подробности сегодняшней прогулки, – и все, что видели в доме Триродова, так ярко вспоминалось, почти с живостью галлюцинации. Потом дремота подкралась, охватила. И не помнила Елисавета, как очутилась в постели. Словно принес незримый, и уложил, и убаюкал. Она заснула.

Тревожен и томен был сон, – кошмарные обстали видения. Все телеснее, все яснее становились они.

Возникла пыльная комната. Такой душный в ней воздух, так на грудь мучительно давит. По стенам шкапы с книгами. На столах – книжки, все новенькие, тоненькие, в ярких обложках. Заглавия почему-то страшные и тяжелые. Пришел студент, длинный, тощий, длинноволосый, все волосы совсем прямые, лицо угрюмое, серое, на глазах очки. Он шепнул:

– Спрячьте.

И положил на стол связку книжек и брошюр. Кто-то сзади Елисаветы протянул руку, взял книжки и сунул их под стол. Потом пришла курсистка, странно похожая на студента, но совсем иная, коротенькая, толстая, краснощекая, стриженная, веселая, в пенсне. Она принесла связку книг и говорит тихо.

– Спрячьте.

Елисавета прячет книги в шкаф, – и боится чего-то.

Приходили студенты, рабочие, барышни, гимназисты, юнкера, чиновники, приказчики, – и каждый положит на стол пачку книг, шепнет:

– Спрячьте!

И скрывается. И прячет Елисавета – в ящик стола, в шкапы, под столы, под диваны, за двери, в печку. А книги на столе все растут, – и все неотвязнее шепот:

– Спрячьте.

И некуда прятать, – а все несут, несут, несут. Книги везде, книги давят...

С чувством тоскливой тяжести в груди Елисавета проснулась. Чье-то лицо наклонилось над нею. Покрывало соскользнуло с ее прекрасного тела. Елена шептала что-то. Сонным голосом Елисавета спросила:

– Я тебя разбудила?

– Ты так вскрикнула, – сказала Елена.

– Такая глупость приснилась, – шепнула Елисавета.

Она опять заснула, – и опять тот же склад. Так много книг, – даже подоконники завалены, и свет едва проникает,

тусклый и пыльный. Томит зловещая тишина. За прилавком, рядом с нею, студент и два подростка стоят странно прямо: они бледны и чего-то ждут. Вдруг дверь отворилась бесшумно. Входят, стуча сапогами, рослые люди, – полицейский, другой, сыщик в золотых очках, дворник, другой, мужик, городской, мужик, дворник, – идут, идут, заполнили всю комнату и все входят, громадные, угрюмые, молчаливые. Елисавете душно, – и она просыпается.

Опять засыпала Елисавета и опять томилась кошмарными видениями, давящими грудь, и просыпалась снова.

Снится ей, что обыскивают.

– Нелегашка! – говорит сыщик, злобно смотрит на Елисавету и кладет на стол книжку.

И растет на столе груда нелегальных книг.

Их мнут и треплют. Полицейский садится писать протокол. Перо ползет, – но бумага мала.

– Бумаги! – кричит пристав.

Исписывается лист за листом. Пристав издевается, грозит револьвером.

Проснулась, – и опять сон.

Пришел учитель-пискун, маленький, хрупкий. За ним другой, третий, без конца, – вереницы мирных людей с мятежными воплями.

Проснулась. И опять сон.

Площадь залита ярким солнцем. Мужик стоит и горланит: – Постоим за прижим и за Русь святую.

На его крик подходит другой мужик, третий, четверит. Медленно и неуклонно копится ревушая толпа. Из толпы выделяется мужик со значком, в белом переднике, подходит близко и, перекашивая рот, кричит неистово:

– За Расею, как Егорий повелевает! Истреблю!

Он наваливается на Елисавету и душит ее.

Проснулась.

Опять снится что-то страшное, темное. Ничего еще не видно и не понять, и только страх разливается в черной мгле. В черной мгле темные сгущаются фигуры, тьма слегка проясняется, и зловеще-серым становится воздух. Снится двор, узкий, обставленный высокими стенами с окнами за частыми решетками. Сердце внятно шепчет:

– Тюрьма. Тюремный двор.

Из узкой двери на мглистый двор холодным, ранним утром выводят арестантов. Идут гуськом – солдат, арестант, солдат, арестант, солдат – без конца, гулко иду поперек двора. В стене калитка скрипит, открывается. Все выходят. И уже Елисавета за стеною видит плоское, безграничное, талоснежное поле и ряд виселиц на поле – бесконечный ряд уходящих вдаль виселиц на поле – бесконечный ряд виселиц. Идут, все ближе, – будут вешать.

Как случилось, не помнила, но идет в ряду и она. Перед нею – солдат, а еще впереди солдата – мальчик. Мальчик к ней спиной, но она узнала – Миша. Ужасом скован язык – кричать бы – не крикнешь. Ужасом скованы ноги – бежать

бы – не двинутся. Ужасом скованы руки – отнять бы – висят бессильно.

Вешают впереди, и мимо повешенных идут арестанты к следующим виселицам. Вешают Мишу. Он срывается. Вешают опять – срывается. Вешают без конца – и он каждый раз срывается.

Видно чье-то свирепое лицо и седая щетина подстриженных усов. Слышен злобный крик:

– Добить!

Выстрел, – незвучный, тупой удар, – мальчик падает и мечется по земле. Опять выстрел, – мальчик мечется. Выстрелы все чаще, – а он все жив.

Елисавета проснулась, – совсем проснулась. Больно и радостно бьется сердце, – да это же – только сон! Только сон! И в сердце ее сияет ликующая радость...

По золотым стрелам еще тихого и кроткого дракона, падавшим так мягко и наклонно, было видно, что еще очень рано. Где-то далеко слышался зов рога и мычание коров. Стены спальни слабо розовели. Окна светились по-утреннему, первоначальным, прельщающим светом, – день в окнах говорил, что он сложится по-новому, по-хорошему. И была влажность, веющая в открытое окно, и раннее чирикание птиц, – и вечная радость утренней природы. Было слышно, что и Елена проснулась.

Так возник новый день, буйный и радостный. А ночные видения?

О, мы умирающие, тонущие в предутреннем тумане!
Хриплым шепотом говорящие наше последнее, наше страшное:

– Прощай!

Глава седьмая

Обе сестры плохо выспались. Елисавета была истомлена кошмарами, а Елена часто просыпалась и приходила к ней. Обе чувствовали сладкое и яркое головокружение разрезанного драконовыми серпами сна. В голове бежали яркие воспоминания нестройною и пестрою вереницею. Вспоминались подробности вчерашнего посещения. Еще томное одолевало обеих смущение, – точно стыд. Но сегодня сестры понемногу одолели его. Оставаясь наедине, они разговаривали о том, что видели в доме у Триродова и в его колонии. Странная нападала на сестер забывчивость, – понемногу забывалась обстановка, подробности тонули. Разговаривая об этом, они часто ошибались и поправляли одна другую. Точно сон был. Да и то, – явь или сон? И где границы? Сладкий сон, горький ли сон, – о, жизнь, быстрым видением проносющаяся!

Прошло три дня. Опять стоял тихий, ясный день, и опять небесный Дракон улыбался своею злою, безумно-ярою улыбкою. Покачиваясь, отсчитывал багровые секунды и пламенные минуты и ронял с еле слышным гулом на землю свинцово-тяжелые, но прозрачные часы. Было три часа дня, – только что миновали самые знойные, ядовито-липкие змеиные минуты. Кончился завтрак. Рамеевы и Матовы были дома. Опять был долог, нестроен и горяч спор Елисаветы с Пет-

ром, и по-прежнему безнадежен, – и разлились, взволнованные и тоскующие, смутным беспокойством истомив уравни-
вешенность мисс Гаррисон.

Сестры остались одни. Они вышли на нижний балкон, сидели молча и притворялись, что читают. Они чего-то ждали. Ожиданием ускорялся поднимающий грудь стук сердец.

Елисавета уронила книгу на колени и, вдруг нарушив знойное молчание, сказала:

– Мне кажется, он сегодня к нам приедет.

Повеял ветер, дрогнули гибкие ветки, какая-то птичка загомозилась, – и казалось, что тоскующий сад обрадовался торопливо промчавшимся словам, резвым, звонким.

– Кто? – спросила Елена.

И вдруг покраснела от неискренности вопроса – знала же кто. Елисавета улыбнулась, глянула на нее и сказала:

– Триродов, конечно. Странно, что мы его ждем.

– Но он, кажется, обещал приехать, – нерешительно сказала Елена.

– Да, – отвечала Елисавета, – он что-то говорил там, у этого странного зеркала.

– Это было раньше, – возразила Елена.

– Да, и в самом деле, – сказала Елисавета. – Я все путаю. Не понимаю, как можно так скоро забыть.

– Да я и сама путаю немало, – удивляясь самой себе, говорила Елена. – Я почему-то чувствовала большую усталость.

Мягкий шум колес по песку приближался быстро и плав-

но. К дому по березовой аллее, медленно, останавливаясь уже, катился легкий шарабан, влекомый лошадей в английской упряжке. Сестры встали. Они были взволнованны. Но на лицах были привычно-любезные улыбки, и руки не дрожали.

Триродов отдал вожжи Кирше. Кирша отъехал.

Первая встреча была странно-неловкою. Смущение сестер пробивалось под любезно-пустыми фразами. Прошли в гостиную. Рамеев вышел, приветствуя гостя, и оба брата Матовы. Начались взаимные приветы, — знакомство, — незначащие речи, — все, как у всех и всегда.

Петр был враждебно неловок. Он говорил отрывисто и с явною неохотою. Миша смотрел любопытными глазами. Ему Триродов понравился, — был приятен, да и раньше Миша слышал о нем нечто, обязывающее к хорошему отношению.

Разговор струился, быстрый и вежливый. О том, что сестры были у Триродова, не сказано было ни слова.

Рамеев сказал:

— Мы много о вас слышали. Рады вас видеть.

Триродов улыбался, и улыбка его казалась слегка насмешливою. Елисавета спросила:

— Вам кажется, что слова об удовольствии видеть — только фраза?

Как-то резко прозвучали эти слова. Елисавета заметила это и покраснела. Рамеев глянул на нее с удивлением. Три-

родов сказал:

– Нет, я этого не думаю. Есть радость встреч.

– Так по привычке говорят, принято, – тихо сказал Петр.

Триродов с улыбкою глянул на него и обратился к Рамееву:

– Говорю это совершенно искренно, – я рад, что познакомился с вами. Я живу очень уединенно и потому тем более рад счастливому случаю, – тому, что дело привело меня к вам.

– Дело? – с удивлением спросил Рамеев.

– О, только два слова, предварительно, – сказал Триродов. – Хочу расширить свое хозяйство.

С легкою печалью в звуке голоса Рамеев сказал:

– Вы купили лучшую половину Просяных Полян.

Триродов говорил:

– Она мне немного мала. Купил бы и остальное – для моей колонии.

– Это – часть Петра и Миши, – сказал Рамеев. – Не хотелось бы продавать остальное.

– Что касается меня, – сказал Петр, – я бы с удовольствием продал, пока «товарищи» не отобрали даром.

Миша молчал, но видно было, что ему противна и неприятна мысль о продаже родной земли. Казалось, что он сейчас заплачет. Рамеев сказал:

– По-моему, продавать не надо. Я бы не советовал этого делать. Мишиной части до его совершеннолетия не продам,

да и тебе, Петр, не советую.

И обрадовался Миша, благодарно глянул на Рамеева. Рамеев продолжал:

– Я лучше укажу вам другой участок. Он тоже продается и будет вам, может быть, удобен.

Триродов поблагодарил.

Разговор перешел на его учебное заведение. Рамеев сказал:

– По этой школе вам приходится иметь дело с директором народных училищ. Как вы с ним ладите?

Триродов презрительно усмехнулся.

– Да никак, – сказал он.

– Тяжелый человек этот господин с дамским голосом, – сказал Рамеев. – Холодный карьерист. Он вам постарается повредить.

Триродов спокойно ответил:

– Я привык. Мы все к этому привыкли.

– Могут закрыть школу, – насмешливо и резко сказал Петр.

– Могут и не закрыть, – возразил Триродов.

– Ну, а если? – настаивал Петр.

– Будем надеяться на лучшее, – сказал Рамеев.

Елисавета ласково глянула на отца. Триродов спокойно говорил:

– Можно закрыть школу, но довольно трудно помешать людям жить на земле и вести хозяйство. Если школа станет

не только школою, но и образовательным хозяйством, то она с успехом заменит крупные хозяйства землевладельцев.

– Ну, это утопия, – досадливо сказал Петр.

– Осуществим утопию, – так же спокойно возразил Триродов.

– А для начала разорим то, что есть? – спросил Петр.

– Почему? – с удивлением спросил Триродов.

Странно волнуясь, говорил Петр:

– «Товарищеский» раздел чужой земли на дармовщинку поведет к страшному падению культуры и науки.

Триродов спокойно возразил:

– Не понимаю этой боязни за науку и культуру. И та, и другая достаточно сильны, и обе за себя постоят.

– Однако, – спросил Петр, – культурные памятники разрушаются довольно охотно тем хамом, который идет нам на замену.

– Культурные памятники не у нас одних погибают, – спокойно возражал Триродов. – Конечно, это печально, и надо принять меры. Но страдания народа так велики... Цена человеческой жизни больше цены культурных памятников.

И так разговор быстро, по русской привычке, перешел на общие темы. Говорил больше Триродов, спокойно и уверенно. Его слушали с большим вниманием.

Из всех пятерых только один Петр не был увлечен гостем. Враждебное, чувство к Триродову все более мучило его. Он посматривал на Триродова с подозрением и с ненавистью.

Его раздражал уверенный тон Триродова, его «учительная» манера говорить. Весь разговор Петра с Триродовым был рядом колкостей и даже явных грубостей. Рамеев с плохо скрываемой досадою посматривал на Петра, но Триродов словно не замечал его выходок и был спокоен, прост и любезен. И под конец Петр принужден был смириться и оставить резкий тон. Тогда он замолчал. Сразу же после того, как Триродов простился, Петр ушел куда-то, очевидно избегая разговора о госте.

Глава восьмая

День был жаркий, душный, безветренный. Бессильно распластался он под злыми очами-стрелами свирепого Дракона. Кое-кто из горожан искал прохлады на поплавке – так называли в Скородоже буфет на пароходной пристани. На этом поплавке под полотняным навесом было не так знойно и порывами от воды веяло прохладой.

Петр и Миша были в городе – что-то покупали. Зашли на поплавок и они – выпить лимонаду. Только что пришел пароход, снизу, из большой реки, от торговых городов. Он разгружался, – выше река становилась мелка, пароходы не ходят. На поплавке стало на короткое время суетливо и шумно. За столиками сидело несколько горожан и приезжих – чиновники, помещики. Они пили вино и беседовали громко, но мирно, кричали по деревенской привычке, – и потому слышно было, что многие разговоры так или иначе касались политических тем.

За одним столом разговаривали двое, согласно, а все-таки яростно. Это были отставной прокурор Кербак и отставной полковник Жербенев, оба – крупные землевладельцы, патриоты, члены союза русского народа. Речи обоих были громки и пылки. Слышались странные слова: – измена, – крамола, – перевешать, – истребить, – драть.

Николай Ильич Кербак был человек маленького роста,

худенький, хилый. На бритом лице длинные, обвислые усы казались демонстративно выращенными, такое было на лице неожиданно-свирепое выражение. Он, небрежно развалясь, покачивался на стуле. Его широкий вестон сидел мешком, пестрый жилет был расстегнут, галстук веревочкой мотался полуразвязанный. Вообще, вид человека, не желающего стесняться. Перед ним на стуле вертелся сын, мальчишка лет восьми, слюнявый, чернозубый, с отвислою карминно-красною нижнею губою.

Андрей Лаврентьевич Жербенев, длинный, натянутый, важный, сидел прямо и неподвижно, как будто его пригвоздили, и строго посматривал вокруг. Китель, застегнутый на все пуговицы, сидел на нем, как на бронзовом идоле.

– Во всем, скажу, родители виноваты, – все тем же свирепым голосом, как и раньше, продолжал Кербак. – Надо с детства внушать. Вот мои...

И он крикнул сыну ненужно громко, – хотя сын егозил на стуле рядом с отцом:

– Сергей!

– Сто? – откликнулся шепелявый и слюнявый мальчишка.

– Встань передо мной и отвечай, – приказал отец.

Мальчишка сполз со стула, вытянулся молодцевато перед отцом, опять спросил:

– Сто?

И оглядел быстрым и хитрым взглядом сидевших за соседними столиками.

– Что надо делать с врагами царя и отечества? – спросил его Кербак.

– Их надо истреблять! – бойко ответил мальчишка.

– А потом? – допрашивал отец.

Мальчик быстро проговорил заученные слова:

– А потом смрадные трупы подлых врагов отечества бросать в помойку.

Кербак и Жербенев радостно хохотали.

– Вот уж именно, падаль поганая! – хриплым голосом сказал Жербенев.

За соседний столик сел и спросил себе бутылку пива не известный никому господин, среднего роста и средних лет, в довольно изношенном платье, дородный, вернее, обрюзглый, с маленькими, сверкающими глазами. Кербак и Жербенев осмотрели его мельком, но недружелюбно. Словно предполагая в незнакомце человека противных взглядов, они усиливали пылкость своих речей и все яростнее говорили о крамольниках, о матушке-России, называли имена здешних неблагонадежных, заговорили о Триродове.

Новый человек долго присматривался к собеседникам. Очевидно было, что имя Триродова, которое стало часто повторяться в разговоре Кербаха и Жербенева, возбудило большое внимание нового человека, даже волнение. Он уставился на собеседников так, что те заметили и переглянулись досадливо.

Наконец незнакомец вмешался в их разговор.

– Извините, – сказал он, – позвольте спросить, изволите вы упоминать господина Триродова, если я не ошибаюсь?

– Вы, милостивый государь... – начал Кербак.

Новый человек тотчас же вскочил и принялся кланяться.

– Простите великодушно мое невежливое любопытство.

Я – Остров, артист, трагик. Изволили слышать?

– Первый раз, – угрюмо сказал Кербак.

– Никогда не слышал, – сказал Жербенев.

Незнакомец приятно улыбнулся, словно услышал похвалу, и, не обнаруживая ни малейшего смущения, продолжал:

– Как же-с, во многих городах играл. Проездом здесь. Еду по своим делам в Рубанскую губернию. И вот сейчас вы изволили упомянуть одну фамилию, очень мне знакомую.

Кербак и Жербенев переглянулись. Дурные мысли о Триродове опять зароились в их головах. Остров продолжал:

– Я не подозревал, что Триродов живет здесь. Он – мой давнишний и близкий знакомый. Приятели, можно сказать.

– Так-с, – строго сказал Жербенев, неодобрительно поглядывая на Острова.

Что-то в тоне голоса и в манерах Острова скоро вооружило против него собеседников. Несомненно, что взор его был нахален. Во всем его поведении и в словах его было что-то раздражающее, дерзкое. Но нельзя было ни к чему придраться. Слова были корректны в достаточной мере.

– Мы уже несколько лет не встречались, – говорил Остров. – Ну, и как же он здесь живет?

– Да, господин Триродов, по-видимому, богат, – неохотно сказал Кербрах.

– Богат? Очень это приятно. Богатство это самое у господина Триродова не весьма давнего происхождения. Это мне доподлинно известно. Недавнего-с происхождения, – повторил Остров, хитро подмигивая.

– И не весьма чистого? – спросил Кербрах.

Он подмигнул Жербеневу. Тот крякнул и насупился. Остров осторожно глянул на Кербеха.

– Почему вы так полагаете? – спросил он. – Нет-с, этого я бы не сказал. Вполне чисто. Вот уж именно можно сказать, что чисто, – повторил он с особенным выражением.

Миша с любопытством смотрел на разговаривающих. Хотелось услышать что-то о Триродове. Но Петр поспешно расплатился и встал. Кербрах задержал было его.

– Вот приятель вашего приятеля Триродова, – сказал он.

– Я еще не успел подружиться с Триродовым, – резко ответил Петр, – да и не собираюсь, а что до его приятелей, так у каждого бывают более или менее странные знакомства.

И ушел вместе с Мишей. Остров, ухмыляясь, посмотрел вслед за ним и сказал:

– Серьезный молодой человек.

– Их с братом земельку изволил приобрести господин Триродов, – пояснил Кербрах.

Неприязнь Петра Матова к Триродову коренилась в том, по-видимому, случайном, обстоятельстве, что Триродов ку-

пил дом и часть имения Просяные Поляны, которое принадлежало прежде Матову-отцу.

Многие в городе Скородоже хорошо еще помнили Дмитрия Александровича Матова, отца Петра и Михаила Матовых. Он был один срок членом уездной земской управы. Второй раз его не выбрали. Он не сумел скрыть своих отношений и своих дел, – и репутация его погибла, хотя дело обошлось без скандала: времена еще были тихие. Во время своей земской службы он более часто, чем надо, бывал у губернатора.

В это же время председатель земской управы по чьему-то доносу был выслан административным порядком в Олонецкую губернию. О Матове ходили темные слухи. При вторичных выборах несколько голосов было за него подано, – но мало. Уже он не попал в земскую управу.

Денежные дела Дмитрия Александровича Матова были плохи. Он вел жизнь рассеянную, кутил, скитался по свету. Смелый, своевольный, необузданный, он жил только в свое удовольствие. Ему не раз случалось прокутиться и остаться без гроша. Вдруг неизвестно откуда опять появлялись средства, и опять он кутил, веселился, вел разгульную жизнь. Имение было заложено и перезаложено. Отношения к крестьянам установились ужасные. Чересполосица и придиричливость Матова вели к постоянным ссорам. Тянулась обычная тяжелая канитель – потравы, загон скота, поджоги, тюрьма.

Просяные Поляны постоянно переходили от периода бо-

гатства и расточительности в полосу полного безденежья и оскудения. Это было оттого, что Матов счастливо получил несколько наследств. Говорили, что не только счастье везло ему, – говорили о подделанных завещаниях, задушенных тетках, отравленных детях. Какие-то темные авантюры то обогащали, то разоряли Матова, – азартная, не всегда чистая игра, – фантастические концессии...

В дни оскудения затейливые постройки в имении не ремонтировались, скот убывал, хлеб сбывали спешно и дешево, лес за бесценок продавался на сруб, рабочие не могли добиться уплаты зажитых денег. Зато в веселые дни, после смерти какого-нибудь родственника, в имении все оживало. Являлись артели плотников, каменщиков, кровельщиков, маляров. Энергично и быстро осуществлялись фантастические затеи. Деньги тратились щедро, без расчета.

Дмитрию Александровичу Матову было уже более сорока лет, и за плечами его тяготело много темных и безумных деяний, когда он женился, неожиданно для всех и даже, кажется, для себя самого, на молодой девице с хорошим состоянием и с темным прошлым. Говорили, что она была любовницей какого-то сановника, надоела ему, но сохранила связи и приобрела капитал. Она была бы очень красива, если бы странное пятно, как будто от обжога, на левой щеке не безобразило ее. Это пятно бросалось в глаза и совершенно заслоняло все красоты ее лица.

Между супругами скоро возникла жестокая вражда, ни-

кто не знал из-за чего. Сплетничали так: он обманулся в своих ожиданиях, она узнала о его любовницах, кутежах, темных слухах про наследства. Ссоры учащались. Нередко Матов уезжал, и всегда внезапно. Однажды он забрал все ценное и скрылся, а жене оставил заложенное имение, долги и двух сыновей. Сначала доходили о нем кое-какие слухи. Говорили, что видели его, кто в Одессе, кто в Маньчжурии. Потом и слухов о нем не было.

Пришло неожиданно известие о его гибели в дальнем южном городе. Причины смерти остались нераскрытыми. Даже тело его не было найдено. Выяснилось только, что его заманили в пустой, необитаемый дом, – и там следы его были потеряны.

Вдова Матова скоро умерла от случайной острой болезни. Сыновья остались в доме Рамеева, их опекуна.

– Агитатор и крамольник, – резко сказал Жербенев.

Остров улыбался и говорил:

– А все-таки я должен заступиться за моего приятеля. Нет ли здесь, извините, патристической клеветы? Из самых, конечно, благородных побуждений!

– Клеветами не занимаюсь, – сухо сказал Жербенев.

– Извините. Однако не смею задерживать. Очень благодарен за любезную беседу и за интересные сведения.

Остров ушел. Кербас и Жербенев тихо говорили о нем.

– Какая у него наружность! совершенно зверский взгляд.

– Да, субъект! Не желал бы я с ним встретиться где-нибудь

в лесу.

– Хороши приятели у нашего поэта и доктора химии!

Глава девятая



Елисавета и Елена опять шли по тропинке близ дороги между Просяными Полями и имением Рамеева. Радовало

сестер, что все тихо вокруг и пустынно, и шумная людская жизнь казалась такою далекою от этих мест. Такою далекою, что в некий мечтательный рай претворялась земная долина, и райскую рощею являлся наивно-веселый лес и бедной и грешной земли. Далекую казалась жизнь со всем ее суетливым бытом, и радостно было сестрам отрешаться от ее условностей и приличий и по мягкой идти земле, по пескам, глинам и травам обнаженными стопами, веселя сердце детскою невинною радостью простой, непорочной жизни.

Обе сестры были одеты одинаково – короткие платья с высоко поднятым поясом, с перекрещенными на груди запашными полами и с короткими у плеч рукавами.

Они шли все дальше, веселыми, влюбленными всматриваясь глазами в полузамкнутые дали долин, лесов и перелесков. Простодушная влюбленность в эту милую природу владела ими, – сладкая, нежная влюбленность! Она зачиналась в Елисавете и ждала для себя только объединяющего предмета, лика, чтобы поставить его в пересечении всех земных и небесных путей и поклониться ему.

Сладкая, нежная влюбленность! Она бродила и в Елене внешним девическим хмелем, и уже была влюблена Елена. Не в кого-нибудь, а вообще. Как влюблен воздух по весне, радостно целующий всех. Как влюблены струи потока, покорно лобзающие розовые колени отроков и дев, – струи этой маленькой речки, впадающей в Скородень и извивающейся в зеленых берегах перед сестрами.

Мост был далек. Сестры перешли речку вброд. Так сладко плеснули холодные струйки под коленки. Сестры постояли на берегу, полюбовались на ежи зеленых сползней, обросшие травой, на обточенные водою гладкие камешки на песке. Еще долго оставалось в похолодевших ногах ощущение влюбленных лобзаний.

Как влюбляются эти струйки во всякую красоту, которая в них окунется, так влюблялась Елена во все милое, что представало ее очам.

Чаще всего ее влюбленность направлялась на Петра. Его любовь к Елисавете сладко и больно ранила Елену.

Сестры спустились в овраг около Триродовской колонии, поднялись, прошли уже знакомою тропинкою, открыли калитку, – на этот раз она легко поддалась их рукам, – и вошли. Скоро перед ними открылось озеро. Там плавали дети и учительницы. Такая веселая была в веселой и звучной воде нагота загорелых тел, и веселы были брызги, и смех, и крики!

Дети и учительницы выходили на берег, бегали по песку нагие. Голые, загорелые, но все же на зелени белые ноги были как вырастающие из земли стволики березок.

Сестер увидели, окружили их буйною радостью нагих, влажных и прекрасных тел и закружили в неистовом хороводе. Такою чуждою и ненужною вдруг сестрам показалась сброшенная на берег одежда – эти грубые ткани, это грубое плетение! Что краше и милее тебя, милое, вечное тело!

Потом сестры узнали, что здесь чаще бывают нагими, чем

в одежде!

Светло опечаленная Надежда сказала сестрам:

– Усыпить зверя и разбудить человека – вот для чего здесь наша нагота.

И смуглая, черноволосая, горящая восторгом Мария говорила:

– Мы сняли обувь с ног, и к родной приникли земле, и стали веселы и просты, как люди в первом саду. И тогда мы сбросили наши одежды и к родным приникли стихиям. Обласканные ими, облелеянные огнем лучей нашего прекрасного солнца, мы нашли в себе человека. Это – ни грубый зверь, жаждущий крови, ни расчетливый горожанин, – это – чистою плотью и любовью живущий человек.

Такою законною, необходимою и неизбежною являлась здесь нагота прекрасных и юных тел, что неохотно потом надета была скучная одежда. Но еще долго сестры кружились нагие, и входили в воду, и лежали на траве в тени. Приятно было чувствовать красоту, гибкость и ловкость своих тел в этом окружении тел нагих, сильных и стройных.

Для наблюдательного взгляда Елисаветы эти обнаженные, веселые девушки-учительницы легко различались на два типа. Одни были восторженные, другие лицемерные.

Восторженные воспитательницы Триродовской колонии с вакхическим упоением отдавались жизни, брошенной в объятия непорочной природы, ревностно исполняли весь обряд, установленный в колонии, радостно совлекали с себя стыд

и страх, поднимали труды, подвергались лишениям, и смеялись, и пламенели, и страстно томились жаждою подвига и любви, жаждою, которую не утолят воды этой бедной земли. И были в их числе опечаленная Надежда и горящая восторгом Мария.

Другие лицемерные были девушки, которые продали свое время и поступились своими привычками, склонностями и приличностями за деньги. Они притворялись, что любят детей, простую жизнь и телесную красоту. Притворяться им было нетрудно, потому что другие были им верными образцами.

Сегодня сестер провели и в здания колонии. Показали все, что успели показать в один час: вещи, сделанные детьми, — книги и картины, — предметы, принадлежащие тому или другому из детей. Показали сад с фруктовыми деревьями, с грядами и с клумбами, с пчелиным гудением, с медвяным запахом цветов и с нежною мягкостью густых трав.

Но уже торопились сестры и скоро ушли.

Они хотели идти домой, но как-то запутались в дорожках и вышли к дому Триродова. Увидела Елисавета над белою стеною высокие башни, вспомнила некрасивое и немолодое лицо Триродова, и сладкая влюбленность, как острое опьянение, жутко охватила ее.

Незаметно подошли совсем близко к усадьбе Триродова. Идти бы им домой. Нет, остановились под белою стеною, у тяжелых запертых ворот. Калитка была приоткрыта. Кто-то

тихий и белый смотрел в ее отверстие на сестер зовущим взглядом. Сестры нерешительно переглянулись.

– Войдем, Веточка? – тихо спросила Елена.

– Войдем, – сказала Елисавета.

Сестры вошли, – и попали прямо в сад. У входа они встретили старую Еликониду. Она сидела на скамье близ калитки и говорила что-то неторопливо и невнятно. Не видно было, кто ее слушал. Может быть, сама с собою говорила старая.

Старая Еликонида прежде нянчила Киришу. Теперь она исполняла обязанности экономки. Она всегда была угрюма и в разговорах с людьми не любила тратить лишних слов. Сестры попытались было поговорить с нею, спросить ее кое о чем – о порядках в доме, о привычках Триродова, – любопытные девушки! Больше спрашивала Елена. Елисавета даже унимала ее. Да все равно, ничего не удалось узнать. Старуха смотрела мимо сестер и бормотала в ответ на все вопросы:

– Я знаю, что знаю. Я видела, что видела.

Подошли тихие дети. Под тенью старых деревьев стояли они неподвижно, как неживые, и смотрели на сестер безвыразительным, прямым взором. Жутко стало сестрам, и они поспешили уйти. Вслед им слышалось угрюмое бормотание Еликониды:

– Я видела, что видела.

И тихим-тихим смехом засмеялись тихие дети, словно зашелестела, осыпаясь, листва по осени.

Молча шли сестры домой. Теперь они вспомнили дорогу и уже не сбивались. Вечерело. Сестры торопились. Влажная и теплая липла к их ногам земля, точно мешала идти скоро.

Уже сестры были недалеко от своего дома, как вдруг в лесу встретили Острова. Казалось, что он ходит и что-то высматривает. Завидевши сестер, он метнулся в сторону, постоял за деревьями и вдруг быстро и неожиданно подошел к сестрам, так неожиданно, что Елена вздрогнула, а Елисавета гневно нахмурила брови. Остров поклонился с насмешливою вежливостью и заговорил:

– Могу я вас спросить кое о чем, прелестные девицы?

Елисавета спокойно поглядела на него и неторопливо сказала:

– Спросите.

Елена пугливо молчала.

– Гуляете? – опять спросил Остров.

И опять ответила Елисавета коротким:

– Да.

И опять промолчала Елена. Остров сказал полувопросительно:

– Близко здесь дом господина Триродова, если не ошибаюсь.

– Да, близко. Вот по той дороге, откуда мы пришли, – сказала Елена.

Ей захотелось победить свой страх. Остров прищурился, подмигнул ей нахально и сказал:

– Благодарим покорно. А вы сами кто же будете?

– Может быть, вам не очень необходимо знать это? – по-
лувопросом ответила Елисавета.

Остров захохотал и сказал с неприятною развязностью:

– Не то что необходимо, а очень любопытно.

Сестры шли торопливо, но он не отставал. Неприятен был он сестрам. Было что-то пугающее в его навязчивости.

– Так вот, милые девицы, – продолжал Остров, – вы, по-
видимому, здешние, так уж дозвоьте вас поспрошать, что
вы знаете о господине Триродове, которым я весьма интере-
суюсь.

Елена засмеялась, может быть, несколько притворно, что-
бы скрыть смущение и боязнь.

– Мы, может быть, и не здешние, – сказала она.

Остров засвистал.

– Едва ли, – крикнул он, – не из Москвы же вы сюда при-
пожаловали босыми ножками.

Елисавета холодно сказала:

– Мы не можем сообщить вам ничего интересного. Вы бы
к нему самому обратились. Это было бы правильнее.

Остров опять захохотал саркастически и воскликнул:

– Правильно, что и говорить, прелестная босоножка. Ну,
а если он сам очень занят, а? Как тогда прикажете поступить
для получения интересующих меня сведений?

Сестры молчали и шли все быстрее. Остров спрашивал:

– А вы не из его колонии? Если не ошибаюсь, вы – тамош-

ние учительницы. Насколько можно судить по вашим легким платьицам и по презрению к обуви, думаю, что я не ошибаюсь. Ась? Скажите, занятно там жить?

– Нет, – сказала Елисавета, – мы не учительницы, и мы не живем в этой колонии.

– Жаль-с! – с видом недоверчивости сказал Остров. – А я бы мог порассказать кое-что о господине Триродове.

Остров внимательно посмотрел на сестер. Они молчали. Он продолжал:

– Я таки пособрал кое-какие сведения и здесь, и в иных прочих местах. Любопытные вещи рассказывают, очень-с любопытные. Откуда у него деньги? Вообще, очень много подозрительного.

– Кому подозрительно? – спросила Елена. – И нам-то что за дело?

– Что за дело вам-то, милые красотки? – переспросил Остров. – Я имею основательное подозрение, что вы знакомы с господином Триродовым, а потому и надеюсь, что вы мне о нем порасскажете.

– Лучше не надейтесь, – сказала Елисавета.

– Разве? – развязным тоном возразил Остров. – А я его знаю давненько. В былые годы живали вместе, пивали, кучивали. И вдруг потерял я его из виду, а теперь вдруг опять нашел. Вот и любопытствую. Друзьями были!

– Послушайте, – сказала Елисавета, – нам не хочется с вами разговаривать. Вы бы шли, куда вам надо. Мы не знаем

ничего любопытного для вас и не скажем.

Остров, нахально ухмыляясь, сказал:

– Вот как! Ну, это вы, прелестная девица, напрасно и неосторожно так выражаетесь. А ежели я вдруг свистну, а?

– Зачем? – с удивлением спросила Елисавета.

– Зачем-с? А может быть, дожидаются и на свист выдут.

– Так что же? – спросила Елисавета.

Остров помолчал и сказал потом, стараясь придать своему голосу пугающую внушительность:

– Попросят честию рассказать побольше подробностей о том, что господин Триродов делает за своими оградами.

– Глупости! – с досадою сказала Елисавета.

– А впрочем, я только шучу, – сказал Остров, меняя тон.

Он прислушивался. Кто-то шел навстречу. Сестры узнали Петра и быстро пошли к нему. По их торопливости и смущению Петр понял, что этот идущий за сестрами человек неприятен им. Он всмотрелся, вспомнил, где его видел, нахмурился и спросил у сестер:

– Кто это?

– Человек очень любопытный, – сказала Елисавета с улыбкою, – почему-то вздумал, что мы расскажем ему много интересного о Триродове.

Остров приподнял шляпу и сказал:

– Имел честь видеть вас на поплавке.

– Ну, так что же? – резко спросил Петр.

– Так-с, имею честь напомнить, – с преувеличенною веж-

ливостью сказал Остров.

– А здесь вы зачем? – спрашивал Петр.

– Имел удовольствие встретить этих прелестных девиц, – начал объяснять Остров.

Петр резко перебил его:

– А теперь оставьте этих девиц, моих сестер, и идите прочь отсюда.

– Почему же я не мог обратиться к этим благородным девицам с вежливым вопросом и с интересным рассказом? – спросил Остров.

Петр, ничего не отвечая ему, обратился к сестрам:

– А вы, девочки, – охота вам вступать в беседу со всяким бродягою.

На лице Острова изобразилось горькое выражение. Может быть, это была только игра, но очень искусная, – Петр смутился. Остров спросил:

– Бродяга? А что значит бродяга?

– Что значит бродяга? – повторил Петр в замешательстве. – Станный вопрос!

– Ну, да, вы изволили употребить это слово, а я интересуюсь, в каком смысле вы его теперь употребляете, применяя ко мне.

Петр, чувствуя досаду на то, что вопрос его смущает, резко сказал:

– Бродяга – это вот тот, кто шатается без крова и без денег и пристаёт к порядочным людям вместо того, чтобы заняться

делом.

– Благодарю за разъяснение, – сказал с поклоном Остров, – денег у меня, точно, немного, и скитаться мне приходится – такая уж моя профессия.

– Какая ваша профессия? – спросил Петр.

Остров с достоинством поклонился и сказал:

– Актер!

– Сомневаюсь, – резко ответил Петр. – Вы больше на сыщика похожи.

– Ошибаетесь, – смущенно сказал Остров.

Петр отвернулся от него.

– Пойдемте скорее домой – сказал он сестрам.

Глава десятая

Опять вечерело. Остров приближался к воротам усадьбы Триродова. Его лицо выдавало сильное волнение. Теперь еще яснее, чем днем, видно было, что он помят жизнью и что он с жалкою робостью надеется на что-то, идя к Триродову. Прежде чем Остров решился позвонить у ворот, он прошел вдоль всей длинной каменной стены, отделявшей усадьбу Триродова, и внимательно осмотрел ее, но увидел все же мало. Только высокая каменная стена, от берега до берега, была перед его глазами.

Было уже совсем темно, когда Остров остановился наконец у главных ворот. Полустертые цифры и старые геральдические эмблемы только мгновенно и неглубоко задели его внимание.

Уже он взялся за медную ручку от звонка, осторожно, словно по привычке передумывать в последнюю минуту, и вдруг вздрогнул. Звонкий детский голос за его спиной сказал тихо, но очень внятно:

– Не здесь.

Остров оглянулся по сторонам, робко и сторожко, слегка сгибаясь и втягивая голову в плечи. Поодаль тихо стоял и внимательно смотрел на него мальчик в белой одежде, синеглазый и бледный.

– Здесь не услышат. Ушли, – говорил он.

– Куда же идти? – грубым голосом спросил Остров.

Мальчик показал рукою влево, – плавный, неторопливый жест.

– Там, у калитки позвоните.

Он убежал быстро и тихо, точно его и не было. Остров пошел в ту сторону, куда показывал мальчик. Он увидел калитку, высокую, узкую. Рядом, в деревянном темном ободке белела кнопка электрического звонка. Остров позвонил и прислушался. Где-то продребезжал торопливо и отчетливо резкий звон колокольчика. Остров ждал. Дверь не отворялась. Остров позвонил еще раз. Тихо было за дверью.

– Долго ли ждать? – проворчал Остров и крикнул: – Эй вы, там!

Какой-то неясный звук дрогнул во влажном воздухе, словно хихикнул кто-то. Остров хватился за медную тягу калитки. Калитка легко и беззвучно открылась наружу. Остров вошел, так же осторожно, осмотрелся и нарочно оставил калитку открытою.

Он очутился в маленьком дворике, обнесенном с боков невысокими стенами. Позади него с металлическим звяканьем захлопнулась калитка. Сам ли он поспешно захлопнул ее? – не помнил. Он торопился дальше, но недолго прошел, – какой-нибудь десяток шагов. Перед ним была стена вдвое выше боковых, в ней – массивная дубовая дверь, и сбоку двери ярко белела пуговка от электрического звонка. Остров опять позвонил. Пуговка от звонка была на ощупь очень хо-

лодная, точно ледяная. Такая холодная, что острое ощущение холода прошло по всему телу Острова.

Над дверью высоко было видно круглое окно, как чей-то внимательный глаз, неподвижный, тусклый, но зоркий.

Долго ли Острову пришлось там стоять и ждать, он как-то не мог дать себе отчёта. Было странное ощущение, что он застыл и вышел из тесного времени. Показалось, что целые сутки пронеслись над ним, как одна минута. Лучи яркого света упали на его лицо и погасли. Остров подумал, что это кто-то бросил на его лицо слишком яркий свет из фонаря через окошко над дверью – такой яркий, что глазам больно стало. Он досадливо отвернулся. Ему не хотелось, чтобы его узнали раньше, чем он войдет. Потому и пришел вечером, когда темно.

Но, очевидно, уже его узнали. Дверь распахнулась опять так же бесшумно. Он вошел в узкий короткий коридор в толстой стене. За ним был второй двор. На дворе никого не было. Дверь за Островым бесшумно затворилась.

– Сколько же тут дворов будет, в этой чертовой трущобе? – сердито проворчал Остров.

Узкая плитяная дорожка тянулась перед ним. Она была освещена лампою, горевшею вдали. Рефлектор этой лампы был направлен прямо на Острова, так что он мог видеть только под своими ногами ярко освещенные, серые, гладкие плиты. По обе стороны от дорожки было совсем темно, и не понять было, стена ли там, деревья ли. Острову не оставалось

ничего иного, как только идти прямо вперед. Но он все же потоптался, пошарил вокруг и убедился, что по краям дорожки росли колючие кусты, насаженные очень густо. Казалось, что за ними была еще изгородь.

– Фокусы, – ворчал Остров.

Он медленно подвигался вперед, ощущая неясный и всевозрастающий страх. Решившись быть настороже, он опустил левую руку в карман своих пыльных и лоснящихся на коленях брюк, нащупал там жесткое тело револьвера и переложил его в правый карман.

На пороге дома встретил его Триродов. Лицо Триродова ничего не выражало, кроме ясно отпечатленного на нем усилия ничего не выразить. Он сказал холодно и неприветливо:

– Не ждал вас видеть.

– Да, а вот я все-таки пришел, – сказал Остров. – Хотите не хотите, а принимайте дорогого гостя.

В голосе его звучал насмешливый вызов. Глаза глядели с преувеличенной наглостью. Триродов слегка сдвинул брови, глянул прямо в глаза Острова, и они забегали по сторонам.

– Войдите, – сказал Триродов. – Отчего вы не написали мне раньше, что хотите меня видеть?

– А откуда же мне было знать, что вы здесь? – грубо пробормотал Остров.

– Однако узнали, – с досадливою усмешкою сказал Триродов.

– Случайно узнал, – говорил Остров, – на пароходной при-

стани. Был разговор. Впрочем, вам это не интересно знать.

Он ухмыльнулся с намекающим выражением. Триродов сказал:

– Войдите же. Идите за мною.

Они пошли вверх по лестнице, узкой, очень пологой, с широкими и невысокими ступенями и частыми поворотами в разные стороны, под разными углами, с длинными площадками между маршей, – и на каждую площадку выходила какая-нибудь запертая плотно дверь. Ясный и неподвижный был свет. Холодная веселость и злость, неподвижная, полускрытая ирония были в блеске раскаленных добела проволочек, изогнутых в стеклянных грушах.

– Да и нет – вот наш свет и ответ, – говорил их неподвижный блеск.

Кто-то легкий и осторожный шел сзади очень тихо. Слышалось легкое щелканье выключателей, – пройденные повороты погружались во мрак.

Наконец лестница кончилась. Длинным коридором прошли в обширную, мрачную комнату. Буфет у стены, стол посредине, по стенам поставцы с резной посудой, – это были приметы столовой.

– Это вы правильно, – проворчал Остров. – Накормить не мешает.

Свет распределялся странно, – половина комнаты и половина стола были в тени. Два мальчика в белых одеждах подали на стол. Остров подмигивал нагло.

Но они смотрели так спокойно и так просто ушли. Триродов поместился в темной части комнаты. Остров сел у стола. Триродов спросил:

– Что же вам от меня надо?

– Вопрос деловой, – ответил Остров, хрипло смеясь, – очень деловой. Не столько любезный, сколько деловой. Что надо? Прежде всего, приятно мне вас увидеть. Все же, в некотором роде, узы связывают, детство и прочее.

– Очень рад, – сухо сказал Триродов.

– Сомневаюсь, – нагло возразил Остров. – Ну-с, и затем, почтеннейший, мне еще кое-что надо. Именно вот вы угадали, что надо. Всегда были психологом.

– Чего же? – спросил Триродов.

– Сами не догадаетесь? – подмигивая, спросил Остров.

– Нет, – сухо сказал Триродов.

– Тогда, нечего делать, скажу вам прямо, мне надо денег, – сказал Остров.

Он засмеялся хрипло, ненатурально, налил себе вина, выпил его жадно и пробормотал:

– Хорошее вино.

– Всем надо денег, – холодно ответил Триродов. – Где же вы хотите их достать?

Остров завертелся на стуле. Хихикая, пожимаясь, потирая руки, он говорил:

– А вот к вам пришел. У вас, видно, денег много, у меня мало. Вывод, как пишут в газетах, напрашивается сам собою.

– Так. А если я не дам? – спросил Триродов.

Остров пронзительно свистнул и нагло глянул на Триродова.

– Ну, почтеннейший, – сказал он грубо, – я рассчитываю, что вы не позволите себе такой самоочевидной глупости.

– Почему? – спросил Триродов, усмехаясь.

– Почему, – переспросил Остров. – Мне кажется, причины вам так же хорошо известны, как и мне, если еще не лучше, и о них нет нужды распространяться.

– Я вам ничего не должен, – тихо сказал Триродов. – И не понимаю, зачем бы я стал давать вам деньги. Все равно, вы истратите их без толку, – прокутите, может быть.

– А вы тратите с большим толком? – язвительно улыбаясь, спросил Остров.

– Если и не с толком, то с расчетом, – отвечал Триродов. – Впрочем, я готов вам помочь. Только прямо скажу, что свободных денег у меня очень мало, да если бы и были, я вам все равно много не дал бы.

Остров хрипло и коротко засмеялся и сказал решительно:

– Мало мне ни к чему. Мне надо много. Впрочем, может быть, это, по-вашему, будет мало?

– Сколько? – отрывисто спросил Триродов.

– Двадцать тысяч, – напряженно решительным тоном сказал Остров.

– Столько не дам, – спокойно сказал Триродов. – Да и не могу.

Остров наклонился к Триродову и шепнул:

– Донесу.

– Так что ж? – спокойно возразил Триродов.

– Плохо будет. Уголовщина, любезнейший, да еще какая! – угрожающим голосом говорил Остров.

– Ваша, голубчик, – так же спокойно возражал Триродов.

– Я-то выкручусь, а вас влопаю, – со смехом сказал Остров.

Триродов пожал плечами и возразил:

– Вы очень заблуждаетесь. Я не имею оснований бояться чего бы то ни было.

Остров, казалось, нагел с каждой минутой. Он свистнул и сказал издевающимся тоном:

– Скажите, пожалуйста! Точно и не убивали?

– Я? Нет, я не убивал, – отвечал Триродов.

– А кто же? – насмешливо спросил Остров.

– Он жив, – сказал Триродов.

– Ерунда! – воскликнул Остров.

И засмеялся хрипло, громко и нагло, но казался оторопевшим. Спросил:

– А эти призмочки, которые вы изволили сфабриковать? Говорят, они и теперь стоят на столе в вашем кабинете.

– Стоят, – сухо сказал Триродов.

– Да говорят, что и настоящее ваше не слишком-то чисто, – сказал Остров.

– Да? – насмешливо спросил Триродов.

– Да-с, – издевающимся голосом говорил Остров. – В вашей-то колонии первое дело – крамола, второе дело – разврат, а третье дело – жестокость.

Триродов нахмурился, строго глянул на Острова и спросил пренебрежительно:

– Букет клевет уже успели собрать?

Остров злобно говорил:

– Собрал-с. Клевет ли, нет ли, не знаю. А только все это на вас похоже. Взять хоть бы садизм этот самый. Припоминаете? Мог бы напомнить кой-какие факты из поры юных лет.

– Вы сами знаете, что говорите вздор, – спокойно возразил Триродов.

– Говорят, – продолжал Остров, – что все это повторяется в тиши вашего убежища.

– Если все это так, – тихо сказал Триродов, – то вы из этого не можете извлечь никакой пользы.

Триродов смотрел спокойно. Казалось, что он далек. Голос его звучал спокойно и глухо.

Остров крикнул запальчиво:

– Вы не воображайте, что я попался в западню. Если я отсюда не выйду, то у меня уже заготовлено кое-что такое, что пошлет вас на каторгу.

– Пустяки, – спокойно сказал Триродов, – я этого не боюсь. Что вы можете мне сделать? В крайнем случае, я эмигрирую.

Остров злобно захохотал.

– Нарядитесь в мантию политического выходца! – злобно воскликнул он. – Напрасно! Наша полиция, осведомляемая благомыслящими людьми, от них же первый есмь аз, – но только первый! заметьте! – достанет везде. Найдут! Выдадут!

– Оттуда не выдадут, – сказал Триродов. – Это – место верное, и там вы меня не достанете.

– Что же это за место, куда вы собрались? – с язвительною улыбкою спросил Остров. – Или это ваш секрет?

– Это – луна, – спокойно и просто ответил Триродов.

Остров захохотал. Триродов говорил:

– И притом луна, созданная мною. Она стоит перед моими окнами и готова принять меня.

Остров в бешенстве вскочил с места, топал ногами и кричал:

– Вы вздумали издеваться надо мною! Напрасно! Меня вашими глупыми сказками не проведете. Провинциальных дурочек надувайте этими фантазмагориями. Я – старый воробей, меня на мякине не проведешь.

Триродов спокойно сказал ему:

– Напрасно вы беснуетесь. Я вам помогу. Я вам денег дам, пожалуй. Но с условием.

– Какое еще условие? – с сдержанною яростью спросил Остров.

– Вы уедете – очень далеко – и навсегда, – сказал Триродов.

– Ну, это еще надо подумать, – злобно сказал Остров.

Триродов с улыбкою посмотрел на него и сказал:

– В вашем распоряжении неделя. Ровно через неделю вы приедете ко мне и получите деньги.

Остров почувствовал вдруг непонятный для него страх. Он испытывал ощущение взятого в чужую власть. Тоска томила его. Лицо Триродова исказилось жестокою усмешкою. Он сказал тихо:

– Ваша ценность такова, что я убил бы вас совсем спокойно, как змею. Но я устал и от чужих убийств.

– Моя ценность? – хрипло и нелепо бормотал Остров.

Триродов гневно говорил:

– Какая ваша цена? Наемный убийца, шпион, предатель.

Остров сказал упавшим голосом:

– Однако вас не предал пока.

– Не выгодно, только потому не предали, – возразил Триродов. – А второе, не смеее.

– Чего же вы хотите? – смиренно спросил Остров. – Какое ваше условие? Куда мне надо ехать?

Глава одиннадцатая

Триродов оставил в Рамееве приятное впечатление. Рамеев поспешил отдать Триродову визит: поехал к нему вместе с Петром. Не хотелось Петру ехать к Триродову, но все же он не решился отказаться. По дороге Петр хмурился, но в доме Триродова старался быть очень вежлив. Принужденность была в его вежливости.

Очень скоро Миша подружился с Киршею, познакомился с другими мальчиками. Между Рамеевым и Триродовым завязывалось близкое знакомство, – настолько близкое, конечно, насколько это позволяла нелюдимость Триродова, его любовь к уединенной жизни.

Случилось однажды, что Триродов с Киршею был у Рамеевых, замедлил и остался обедать. К обеду сошлось еще несколько человек из близких Рамееву и к молодым людям. Постарше были кадеты, помоложе – считали себя эсдеками и эсэрами.

Сначала говорили, много волнуясь и споря, по поводу новости, принесенной одним из молодых гостей, учителем городского училища Воронком, с.-р. Сегодня днем близ своего дома был убит полицмейстер. Убийцы скрылись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.